

Люби

Виктор
Астафьев

Отравно-сладкая мука любви —
самая высокая награда человеку,
всегда нуждающемуся в наряде,
в празднике, в украшении его жизни,
деяний, мыслей, чувств, бытия его.



Виктор Петрович Астафьев

О любви (сборник)

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=595195
О любви: Эксмо; М.: 2011
ISBN 978-5-699-46649-8

Аннотация

Только любовь «приносит истинное счастье человеку, не дает ему опуститься до животного и порой поднимает в запредельные высоты на легких белых крыльях, которые дано почувствовать, а кое-кому даже ощутить их за своими усталыми и сутулыми от житейских тягот плечами».

Содержание

Передышка	4
Тревожный сон	13
Бери да помни	24
Руки жены	33
Ясным ли днем	41
Конец ознакомительного фрагмента.	46

Виктор Астафьев

О любви

Передышка

Вы современную песню про кольцо и про любовь слышали?

Глупая, надо вам заметить, песня, и, мало того, она еще и в корне неправильная, в особенности эти вот слова: «Нет ни начала, ни конца...» Брехня! Я на факте докажу шаромыжникам, составившим песню, – есть начало, и конец есть!..

В сорок третьем году во время летних боев мы неожиданно и негаданно для фашистов выскочили к хутору Михайловскому, что на Полтавщине. Выскочили и подзадержались. Почитай, неделю толкались на жарко полыхающих ржаных полях, и веселый, в садах утопающий хутор был за это время почти весь порушен и сожжен, деревья срублены, загороди свалены, перекопанные вдоль и поперек огороды разворочены взрывами. Словом, каждая высотка за хутором доставалась нам большой кровью и работой.

Испеченные солнцем, копали мы землю, таскали связь, вели огонь по врагу и дошли до того, что губы у нас потрескались, языки пораспухали без питья, гимнастерки от соли ломались на спинах, есть мы ничего не могли, и нам хотелось только пить, пить. Колодцы в хуторе были уже вычерпаны до дна, а болотинка, с гектар величиной, зеленевшая в ложбине за огородами хутора, была до того изрыта и выжата, что мы жевали мокрую траву и пробовали сосать жидкую грязь. Немцы день и ночь били по болотцу, зная, что там всегда людно.

Но «как ни болела – померла», – говорится в одной дурашливой русской поговорке. Немцев с полтавских высот мы в конце концов сбили, и они покатались «вперед на запад» – как тогда шутили вояки.

Не раз и не два довелось нам потом быть в разного рода передрыгах, воевать и без воды, и голодом, и холодом, и про хутор Михайловский мы скорей всего забыли бы, как забыли множество других хуторов и деревень, где выпадало нам всякое военное лихо. Но после отъезда из хутора начали мы замечать неладное в поведении шофера Андрюхи Колупаева.

Я забыл сказать, что воевал во взводе управления истребительного артдивизиона и взвод этот: связистов, разведчиков, топографов, вместе с катушками, телефонами, буссолью, стереотрубой, планшетом и прочим скарбом – возил по фронту на отечественном «газике» этот самый Андрюха Колупаев. Если бы шоферам давали звания за умелость и талант – Андрюха наш звался бы профессором, а то и академиком – такой он был классный шофер. «Где «студдер» не везет, трактор буксует и олень не идет – там Андрюха Колупаев пройдет!» – говорили про него, и через это умение шибко доставалось Андрюхе. «Газик», к которому он саморучно приделал еще одну ведущую ось, мотался по военным дорогам почти безостановочно, и, когда машину Колупаева поставили на ремонт, собрать ее уже не могли: вся она была изношена. Андрюхе дали тогда медаль «За боевые заслуги» и новую трофейную машину.

Однако произошло это уже в Польше, и до события того было еще ой как много километров! Пока же мы только-только съехали с хутора Михайловского и обнаружили, что у Андрюхи пропал аппетит, лицо его осунулось и в завалившихся глазах обозначалась какая-то непонятная мгла. Ну, вопросы пошли: «Не заболел ли? Дома все ли в порядке?.. Может, письмо худое получил?..»

«Отстаньте от меня!.. Отцепитесь!.. Чего привязались?!» – надломленным голосом кричал Андрюха и добавлял разные слова.

Крутой нравом, занозистый мужик, еще в гражданке избалованный как редкостный спец по машинам, Андрюха и на войне марку держал высоко. Позволял себе возвышать голос на нас и даже вредничать с начальством, которое относилось к нему почтительно и по возможности оберегало такого нужного бойца от истребления.

Но хоть он и спец, хоть и дока по части техники, да в других вопросах были у нас люди и попроницательней, и вострее его – и скрыть Андрюха ничего не сумел, потому как не было еще и не скоро, думаю, будет такая человеческая тайна, каковую бы не вырвал из нетей русский солдат – зрящий на три метра в землю, а может, и дальше!

Андрюха Колупаев влюбился!

Это был первый такой случай в нашей части, и мы до того оказались сражены, что и на Андрюху глядели совсем уж по-другому, отыскивая в нем ту красоту и значительность, за которую господь бог ниспослал человеку этакое чудо!

Вы думаете, мы обнаружили сказочного принца в золотых одеждах и с пронзительным взглядом? Где там! Мы даже кучерявого лейтенанта в хромовых сапогах и то не обнаружили! У радиатора «газушки» вертел заводную ручку и матерился на весь Украинский фронт коренастый, чернявый, на бурята смахивающий мужик.

О любовь! Ты и вправду что слепа! У меня вот, взять, шатеновые волосы, вьющиеся, если их с духовым мылом вымыть. Нос, правда, подкачал – он у меня коромыслом! Зато глаза – как у артиста Дружникова – задумчивые! Внешность – хоть куда! Но завлек я кого-нибудь? Завлек?..

Через две недели пришло письмо, и Андрюха не стал его нам читать, лишь подразнил, показав начало, где обмусленным химическим карандашом было выведено: «Коханный мий!» Все остальное письмо Андрюха закрыл мазутной ладонью, потом и вовсе уединился в кабину.

«Коханный мий!» Вот так Андрюха! Это пока мы бились за хутор Михайловский, пока мы издыхали на высотах и у нас все засохло не только в животе, но и в башках, он охмурял вдовицу годов двадцати двух – двадцати трех.

Мы видели ее, эту грудастенькую, стеснительную вдовицу с черными бровями и уважительным голосом. То-то она так проворно бегала по хате, уцелевшей в боях, то-то она поднарядилась в фартук с лентами и все напевала: «Будь ласка, Андрій Степаньчу, будь ласка!..»

Лицо Андрюхино так блестело и сияло, будто он квашню блинов срубал во время Масленицы и сверх того пол-литра выпил. На нас он смотрел ровно бы с парашютной вышки, не различая отдельных черт лица, как на серую, интереса не имеющую массу.

Фасонит Колупаев Андрюха, задается! Но у него ж в забайкальском совхозе имени Десяти замученных красных партизан имеются жена и двое детишек! Забыл? На-по-о-ом-ним! Рассказывай, голубчик, как и что было, детально, досконально рассказывай, иначе...

– Не могу, ребята! Хоть режьте! Любовь промеж нас зачалась гибельная!.. – И грустно поведал Андрюха, как тоскует он о Галине Артюховне, и его по правилам с машины сымать бы надо, потому как он ночами не спит и может аварию сделать и весь взвод управления поизувечить. Он обвел всех нас жалеющими глазами и вздохнул: – Очень, ребята, хорошо любить! Вроде бы и мученье, а все одно хорошо!..

Поняли мы его – не чурки! – как-никак в школах учились, в пионерах иные состояли и книжки про любовь читали. Зауважали мы Андрюху и даже потихоньку гордились тем, что есть у нас такой боец, который вроде бы всех нас обнадежил на будущее своей любовью.

Письма Андрюха получал с каждой почтой, иногда по три сразу. Он уходил в лес или прятался в хлеба и читал по многу раз каждое письмо. Потом Андрюха записил вокруг меня, угодливым сделался, в кабину зазывал, где ехать благодать: спать можно, пылью не душит.

Я не сразу, но уразумел, в чем тут дело. Я сочинял складные письма заочницам с лирическими отклонениями насчет «жестокого оскала войны», где нам тоскливо без женщин, особенно когда цветут сады, поют соловьи, где «только пули свистят по степи, тускло звезды мерцают...» и горько пахнет черным порошком, которым мы «овеяны». Чтобы все было натурально, солдат, которые с моего сочинения переписывали письма, вставляя в них имена своих заочных «симпатий», я научал тереть бумагу о закопченный котелок либо обжечь по углам. То-то бедные девчонки в тылу переживали, получив «опаленные огнем» письма!

Совсем обезумел Андрюха Колупаев от любви, хочет, чтобы я написал «хорошее» письмо Галине Артюховне. Самогонки сулился достать за услугу. Сам Андрюха происходил из темной старообрядческой деревни и грамоту имел совсем малую. Письма он писал трудно, по несколько дней, бывало, мусолит письмо, аж лицом осунется. Но я хоть и считался во взводе парнем с придурью, все же отказал ему: с заочницами, мол, баловство и развлечение, а тут дело серьезное. Андрюха надулся на меня и в кабину больше не приглашал.

Если бы я знал, чем все это кончится!..

Но никому не ведомы девственные тайны любви. Оч-чень путаная эта штука – любовь! Она, как хворь, у всех протекает по-разному и с разным накалом, а поворотов и загибов в любви столько, что не приведи ты господи!..

Отвлекся я, однако. Люблю порассуждать о сложностях жизни. Меня уже всего изгрызла за это супружница. Балаболка ты, говорит, балаболка!..

Тоже вот любовь у нас после войны была, хоть и краткая, но головокружительная! Куда это и делось?..

Зимой, во время тяжелых боев под Христиновкой, Андрюха Колупаев так замотался со своей машинешкой, что стал путать день с ночью, ел сперва кашу, потом суп, пилил дрова с вершины, и мы побаиваться начали, кабы не залил он в радиатор бензину, а в бак воды и не взорвал бы нас.

Но получилось как в худом солдатском анекдоте. Андрюха смешал адреса, и то письмо, что назначалось в хутор Михайловский, ушло в совхоз имени Десяти замученных красных партизан, а Галине Артюховне наоборот.

Из хутора Михайловского письма прекратились, а из Сибири месяц спустя пришел пухлый треугольник на имя командира части. Писали тогда на фронт много: и насчет пенсий, и насчет тыловиков, которые цеплялись к солдаткам с корыстными намерениями, и насчет подвозки дров, сена, учебы, работы, и по всяким разным причинам. И правильно! Кому же еще, как не командиру, пожаловаться одинокой женщине или старикам родителям? Он, командир, – отец над всеми, и, значит, в ответе не только за боевые дела солдат. Это вот доверие и родство только в нашей армии завелись, и не надо терять такое качество и нынешним командирам.

Разные письма бывали.

Помню, одна бабенка спрашивает в письме о своем муже: «Где такой-то? Не получаю писем».

Наш майор аккуратен по этой части был и вежливо ей ответил:

«Так и так, ваш муж, проявив героизм, ранен был и отправлен в госпиталь на излечение».

«Где тот госпиталь?» – спрашивает бабенка в другом письме. – Я немедленно туда поеду навестить дорогого мужа».

«Я не ведаю госпиталями и, к сожалению, не знаю, где находится ваш муж», – снова вежливо отвечает майор.

«Дерьмо ты, а не командир, коли не знаешь, где находятся твои бойцы!..»

Это нашему-то майору, который с пеленок приговорил себя повелевать людьми и красоваться в военной форме, – такие слова!.. Ах, бабы, бабы! Дуры вы, бабы! Право слово, дуры!

Письмо нашему командиру части писал под диктовку неграмотной жены Андрюхи председатель сельского Совета. В конце письма он присобачил печать, поставил «Верно» и учинил размашистую принципиальную подпись.

Это уже документ! На него надо реагировать. Командир дивизиона пришел в жуткую свирепость, потому что в письме ругали не столько Андрюху, сколько его, и не просто ругали, а прямо-таки срамили: «Мы тут работаем не разгибая спины, без сна, без отдыха, голодные, холодные, чтобы вы скорее побеждали врага коммунизма и социализма! А в результате узнаем, чем вы там занимаетесь...» (тут стояло слово, буквально определяющее, чем мы занимаемся).

Командиру части, распустившему своих бойцов, грозили, что, если меры не будут приняты и бабник Колупаев не понесет заслуженного наказания, его семья и все труженики славного совхоза имени Десяти замученных красных партизан обратятся к генералу фронта, а то и к самому главнокомандующему тире Сталину!

Молодой щеголь майор, перед самой войной окончивший артиллерийское училище и мечтающий об академии, если уцелеет, бегал по блиндажу, позвякивал шпорами и шептал угрожающе. Увидев, что я, дежурный телефонист, ухмыляюсь, он выпрямился, трахнулся темечком в сучковатый накат и, схватившись за голову, рывкнул:

– Вы чего улыбаетесь?! Такой же бабник! Такой же свистун! Колупаева ко мне! Бегом!..

Я хотел обидеться на «бабника», да не посмел и поскорее вызвал ЧМО – такая позывная была у нашего хозвзвода. Расшифровывалась она точно: чудят, мудрят, обманывают. Телефонист на ЧМО бросил трубку возле окопчика и пошел искать Андрюху, а я с завистью и интересом слушал заманчивую, с моей точки зрения, жизнь тылового взвода. Вот замычала корова, звякнула подоюница, следом голос: «Шоб ты сказывалась, худа скотыняка!..» На кого-то покрикивал повар: «Ты у меня получишь! Ты у меня получишь!..» Кто получит? чего получит? – я мог только гадать. Потом хохот раздался и женский визг.

«Живут же люди, ей-богу!» Я уши развесил, настраиваясь на женский визг, но вятский голос старшины Жвакина занудил: «Эдак я все пораздам, а майору што останется?..» Главная цель Жвакина на войне: потрафить майору, который стращал его передовой, где, думал Жвакин, ждет его смерть неминуемая.

– Чего заныл-то? – услышал я Андрюху Колупаева. – Достать надо уметь, на то ты и старшина!

Что ответил старшина – я не разобрал. По трубке защелкали комочки земли, зажурчало в ней, скрипнул клапан:

– Ну, как у холеры надо? Колупаев слушат!

Мне, простуженному вконец, обсопливавшему, кашляющему до хрипа в груди, не понравилось его такое поведение – живет как у Христа за пазухой, кушает ежедневно горячее, спит в кабине или в теплой избе, покрикивает на старшину Жвакина и еще заносится... Лучше бы за адресами ладом следил!

– А ничего! – сказал я. – Иди-ка вот сюда, на передовую, на наблюдательный пункт... И тебе тут чего-то даду-у-ут! – пропел я на мотив популярной до войны песни: «Мама, мама! Мне врач не поможет – я влюбился в девчонку одну...»

Андрюха не понял моего намека и иронии моей не принял.

– Есть ковды мне ходить-расхаживать! У меня машина, понимаешь?.. Мне по картошки ехать надо, понимаешь!.. Чтобы вы проворней воевали и с голодухи не загнулись, понимаешь!..

Я держал трубку телефона на отлете – и по блиндажу разносило его запальчивое «понимаешь». Майор остановил карандаш на карте, где он уточнял наблюдения, чего-то сложное высчитывал, и протянул руку за трубкой.

– Товарищ двадцать пятый говорить будут!

Командир дивизиона, жуя папироску, все еще косился на карту – чего-то соображал:

– Колупаев? Немедленно, слышишь, немедленно ко мне!..

– Есть!.. – пискнул Андрюха и добавил: – Есть немедленно...

У нашего майора не забалуешься. Когда он, по его выражению, с картой работает – и вовсе под руку не попадайся!

– Вот так-то, товарищ Колупаев! – сказал я растерянно дышавшему в трубку Андрюхе и пытающемуся отгадать – зачем это он понадобился майору, да еще и немедленно?!

– Слышь?! – заныл Андрюха.

– И не спрашивай! И не приставай! Военная тайна!.. – отверг я его домогания и деликатно вынул ногтями из пачки майора папиросу «Пушка», поскольку тот шарился по карте, втыкал в нее циркуль и, как глухарь на току, повторял: «Тэк-с, тэк-тэк!..» – должно быть, видел себя в мечтах уже полководцем. В такую минуту у него можно было стянуть что угодно.

Я уже по всем батареям прочирикал последние известия. Дивизион сладостно замер, ожидая дальнейших событий. Заинтересованные лица то и дело сопели в телефон и спрашивали: не появился ли на передовой влюбленный водитель «газика»?

К пехоте кухня приехала, дымилась каша в котлах. Через наших телефонистов-трепачей, посланных в пехотный батальон для корректировки огня, стало все известно и там. Возле кухни хохот. С дальних телефонных линий по индукции доносило: «Но-о! А он чё! Х-ха-ха-ха-а!..»

Немцы и те чего-то примолкли.

Лишь один Андрюха Колупаев ни сном ни духом не ведал, какой ураган надвигался на него. Он шел по телефонной линии, и я раньше всех услышал его приближение, и, когда задергался провод и посыпались комки мерзлой земли в окопе, примыкающем к нашему блиндажу, я шепотом известил подвластную мне клиентуру:

– Прибывает!

И защелкали клапаны на всех телефонах, и понеслось по линиям: «Внимание!» – как перед артподготовкой.

Андрюха царапнул по окорелой плащ-палатке пальцами, отодвинул ее, пустил холод на мои ноги, и без того уж застывшие, скользнул по мне взглядом, как по горелому пню, и обратился к лицу более важному:

– Товарищ майор, боец Колупаев прибыл по вашему приказанию!

Майор выплюнул потухшую папироску, прикурил от коптящей гильзы свежую и долго, с интересом глядел на Андрюху Колупаева, как бы изучая его. А я с трубками, подвешенными за тесемки на башку, постукивал ботинком о ботинок, грея ноги, шаркал жестяным рукавом шинели по распухшему носу и ждал – чего будет?

– Боец Колупаев, – наконец выдавил командир дивизиона и повторил: – Боец!

Андрюха весь подобрался, чувствуя неладное, и глянул на меня. Но я, в отместку за то, что он скользнул по мне взглядом, как по бревну, и относился ко мне последнее время плохо, – ничего ему не сообщил ни губами, ни глазами – держись без поддержки масс, раз ты такой гордый!

– Иди-ка сюда, боец Колупаев! – поманил к себе Андрюху майор, и тот, не знающий интонаций майора, всех тайн, скрытых в его голосе, как знаю, допустим, я – телефонист, – простодушно двинулся к столу, точнее, к избяной двери, пристроенной на две ножки, и присел на ящик из-под снарядов.

– Так-так, боец Колупаев, – постучал пальцами по столу майор, – воюем, значит, громим врага!

– Да я чё, я за баранкой... – увильнул встревоженный Андрюха. – Это вы тут, действительно, без пощады!..

– Чего уж скромничать! Вместе, грудью, так сказать, за Отечество, за матерей, жен и детей. Кстати, у тебя семья есть? Жена, дети?.. Все как-то забываю спросить.

– Да эть я вроде сказывал вам? Конечно, много нас – не упомнишь всех-то. Жена, двое ребят. Все как полагается...

– Пишешь им? Не забываешь?

– Да эть как забудешь-то? Свои.

– Ага. Свои. Правильно... – Глаза майора все больше сужались, и все больше стального блеску добавлялось в них.

Я держал нажатым клапан телефона, и артиллерийский дивизион, а также батальон пехоты замерли, прекратив активные боевые действия, ожидая налета и взрыва со стороны артиллерийского майора, пока еще ведущего тонкую тактическую работу.

Атмосфера сгущалась.

Я бояться чего-то начал, даже из простуженного носа у меня течь перестало.

– Чего случилось-то, товарищ майор? – не выдержал Андрюха.

– Да ничего особенного... На вот, почитай! – Майор протянул Андрюхе размахившийся, припачканный в долгой дороге треугольник. Бумага на письмо была выдрана из пронумерованной конторской книги, и заклеен треугольник по нижнему сгибу вареной картошкой. Где-то треугольник поточили мыши.

Андрюха читал письмо, шевеля губами, и я видел, как сначала под носом, потом под нижней губой, а после и на лбу его возникали капли пота, они набухали, полнели и клейко текли за гимнастерку, под несвежий подворотничок. Командир дивизиона одним махом чертил круги циркулем на бумаге и с нервным подтрясом в голосе напевал переименованную мной песню: «Артиллеристы, точней прицел! Разведчик стибрил, наводчик съел...»

Никаких поношений и насмешек об артиллеристах майор не переносил, сатанел прямо, если замечал неуважение к артиллерии, которая была для него воистину богом, и вот сатирический куплет повторяет и повторяет...

Худо дело, ребята! Ох худо! Я отпустил клапан трубки и полез в карман за махоркой.

Андрюха дочитал письмо, уронил руки на колени. Ничего в нем не шевелилось, даже глаза не моргали, и только безостановочно, зигзагами катился теперь уже разжиженный пот по оспяным щербинам и отвесно, со звуком падал с носа на приколотую карту.

«Хоть бы отвернулся. Карту ведь портит...» – ежась от страха, простонал я.

Телефонисты требовали новостей, зуммерить начали.

– А, пошли вы!..

– Ладно, ладно, жалко уж...

Голос мой, видать, разбил напряженность в блиндаже. Майор швырнул циркуль с такой силой, что он прокатился по карте и упал на землю.

– Воюем, значит, боец Колупаев?! – подняв циркуль и долговязо нависнув над потухшим и непривычно кротким Андрюхой, начал расходовать скопившийся заряд командир дивизиона. – Бьем, значит, гада!

Андрюха все ниже и ниже опускал голову.

«Заступница солдатская, матушка, пресвятая богородица! Пусть майора вызовут откуда-нибудь!..» – взмолился я.

Никто майора не вызывал. Меня аж затрясло. «Когда не надо – трезвонят, ироды, – телефон рассыпается!..»

– Вы что же это, ля-амур-р-ры на фронте разводить, а?!

– Ково? – прошептал Андрюха.

– Он не понимает! Он – непорочное дитя! Он... – Майор негодовал, майор наслаждался, как небесный пророк и судия, своим праведным гневом, но я отчетливо почувствовал в себе удушливую неприязнь к нему и догадываться начал, отчего не любят его в дивизионе, особенно люди не чинные, войной сотворенные, скороспелые офицеры. Но когда он, обращаясь ко мне и указывая на Андрюху, воззвал с негодованием: – Вы посмотрите на него! Это ж невинный агнец! – я качанием головы подтвердил – что, мол, и говорить – тип! И тут же возненавидел себя за агнца, которого не знал, и за все... – Сегодня вы предали семью! Завтра Родину предадите!

– Ну уж...

– Молчать, когда я говорю! И шапку, шапку! – Майор сшиб с Андрюхи шапку, и она покатилась к моим ногам. «Ну, это уж слишком!» Я поднял ее, отряхнул, решительно подал Андрюхе и увидел, что бледное лицо его начинает твердеть, глаза раскаляются.

«Ой, батюшки! Что только и будет?!»

– Если будете кричать – я уйду отсудова! – обрывая майора, заявил Андрюха. – И руками не махайтесь! Хоть в штрафную можете отправить, хоть куда, но рукам волю не давайте!..

– Что-о-о?.. Ч-что-о-о? А ну, повторите! А ну... – Майор двинулся к Андрюхе на согнутых ногах.

Андрюха встал с ящика, но от майора не попятился.

И в это время!.. Нет, есть солдатский бог! Есть! Какой он, как выглядит и где находится, – пояснить не могу, но что есть – это точно!..

– Двадцать пятого к телефону! – По капризному, сытому голосу я сразу узнал штабного телефониста и скорее сорвал с уха трубку:

– Из штаба бригады, товарищ майор!

– А-а, чь... черт! – Все еще дрожа от негодования, командир дивизиона выхватил у меня трубку. – Двадцать пятый! Репер двенадцатой батареи? Пристреляли. Да! Четырьмя снарядами. Да! Остальные батареи к налету также готовы. Связь в пехоту выброшена. Все готово. Да. Чего надо? Как всегда, огурцов. Огурцов побольше. Чем занимаюсь? – Майор выворотил белки в сторону Колупаева. – С личным составом работаю. По моральной части. Мародерство? Пока бог миловал... Да... Точно. До свидания, товарищ пятый. Не беспокойтесь. Я знаю, что пехоте тяжело. Знаю, что снег глубокий. Все знаю...

Он сунул мне трубку. Она была сырая – сдерживал себя майор, и нервы его работали вхолостую, гнали пот по рукам. Не одному Андрюхе потеть!

– Ну, как там у вас? – послышался вкрадчивый голос.

Прикрыв ладонью трубку, я далеко-далеко послал любопытного связиста.

Майор достал из полевой сумки два листа бумаги, пододвинул к ним чернилку с тушью, складную железную ручку достал из-под медалей, залезши пальцами в карман.

– Пиши! – уже утихомиренно и даже скучно сказал он, и я тоже начал успокаиваться: если майор перешел на «ты», значит, жить можно.

Андрюха вопросительно глянул на майора.

– Письмо пиши.

Андрюха обернул вставышек железной ручки пером наружу, вынул пробку из чернилки-непроливайки, макнул перо, сделал громкий выдох и занес перо над бумагой – три класса вечерней школы! С такой грамотой писать под диктовку!..

Майор, пригибаясь, начал расхаживать по блиндажу:

– Дорогая моя, любимая жена...

Андрюха понес перо к цели, даже ткнул им в бумагу, но тут же, ровно обжегшись, отдернул:

– Я этого писать не буду!

– Почему? – вкрадчиво, с умело спрятанной насмешкой поинтересовался майор.

– Потому что никакой любви промеж нас не было.

– А что было?

– Насильство. Сосватали нас тятя с мамой – и все. Окрутили, попросту сказать.

– Ложь! – скривил губы майор. – Наглая ложь! Чтобы при Советской власти, в наши дни – такой допотопный домострой!..

– Домострой?! Хуже!.. Я было артачиться зачал, дак пахан меня перетягой так опоясал... Никакая власть, даже Советская, тятю моего осаврасить не может.

– Давайте, давайте, – покачал головой майор. – Вы посочиняйте. Мы – послушаем! – И снова улыбнулся мне, как бы приглашая в сообщники. И я снова угодливо распялил свою пасть.

Андрюха тем временем сложил ручку и поднялся с ящика:

– Не к месту, конечно, меня лукавый попутал... Всю ответственность поступка я не понимал тогда. Затмило! Но, извините меня, товарищ майор, – артиллерист вы хороший, и воин, может быть, жестокий ко врагу, да в любви и в семейных делах ничего пока не смыслите. Вот когда изведаете и то и другое – потолкуем. А сейчас разрешите мне идти. Машина у меня неисправная. Завтре наступать, слышу, будете. Мне везти взвод... – Андрюха достал из-за пазухи рукавицы. – Письмо семье и в сельсовет ночью напишу. Покажу вам. Покаянье Галине Артюховне также будет сделано... Разрешите идти?

– Идите!

Я удивился: в голосе майора мне почудилась пристыженность.

Андрюха поднялся, оправил телогрейку под ремнем, закурил, ткнувшись сигаркой в огонек коптилки, и пояснил свои действия хмуро глядевшему майору:

– Шибко я потрясенный. Покурю в тепле. – И курил молча до половины сигарки, а потом вздохнул протяжно: – Жись не в одной вашей Москве протекает, товарищ майор... По всему Эсэсэру она протекает, а он, милый, о-го-го-о-о! Гитлер-то вон пер-пер да и мочой кровавой изошел! Оказалась у него задница не по циркулю пространства наши одолеть! И на огромной такой территории оч-чень жизнь разнообразная!.. Например, встречаются еще народы – единым мясом или рыбой без соли питающиеся; есть, которые кровь горячую для здоровья пьют, а то и баб воруют по ночам!.. И молятся не царю небесному, а дереву, скажем, ведмедю или даже змее...

Майор, часто моргая, глядел на Андрюху Колупаева и вроде бы совсем его не узнавал.

Плюнул в ладонь Андрюха, затушил сигарку, как человек, понимающий культуру.

– Вам вот внове знать небось, какой обычай остался в нашей деревне? – Андрюха помолчал, улыбнувшись воспоминанию. – Родитель перетягой или вожжами лупит до тех пор, пока ему ответно не поднесешь...

– К-как это? Вина?

– Вина-а! – хмыкнул Андрюха. – Вина само собой. Но главное – плюху! Желательно такую, чтоб родитель с копытов долой! Сразу он тебя зауважает, отделиться позволит... Я вот своротил тятя санки набок и, вишь вот, до шофера самоуком дошел! Кержацкую веру отринул, которая даже воевать запрещает... А я, худо-бедно, фронту помогаю... Не в молельню ходил, божеские стихиры слушать, а в клуб, на беседы. Оч-чень я люблю беседы про технику, про устройство земного шара, а также об окружающих мирах...

– Идите! – устало повторил майор.

Андрюха, баскобайник окаянный, подморгнул мне, усмехнувшись, натянул неторопливо рукавицы и вышел на волю.

Все правильно. Все совершенно верно. Знала Галина Артюховна, кого выбрать из нашего взвода. Боец Андрюха! Большого достоинства боец! Не то что я – чуть чего – и залыбился: «Чего изволите?» Тьфу!..

Командир дивизиона попил чаю из фляги, походил маленько по блиндажу и снова уткнулся в карту.

– Ишь какой! Откуда что и берется! – буркнул он сам себе под нос. – Снюхался с хохлушкой, часть опозорил! А еще болтает о мирах! Наглец!.. Н-ну, погодите, герои, доберусь я до вас! Наведу я на этом ЧМО порядок!..

Письма Андрюхины майор проверил, или, как он выразился, откорректировал, что-то даже вписал в них от себя, но только те письма, которые были домой и в сельсовет. Письмо к Галине Артюховне не открыл, поимел совесть, хотя и сказал, насупив подбритые брови и грозя Андрюхе пальцем:

– Чтобы не было у меня больше никаких ля-амурчиков!

«Э-э, товарищ майор, – отметил я тогда про себя, – и вас воспитывает война тоже!..»

Андрюха Колупаев с тех пор покладистей стал и молчаливей, ровно бы провинился в чем, и беда – какой неряшливый сделался: вонял бензином, брился редко, бороденка осокой кустилась на его щербатом, заметно старящемся лице. Иной раз он даже ел из немытого котелка, чего при его врожденной обиходности прежде не наблюдалось.

Лишь к концу войны Андрюха оживать стал и однажды признался нам в своей тайной думе:

– Эх, ребята! Если б не дети, бросил бы я свою бабу, поехал в хутор один, пал бы на колени перед женщиной одной... О-очень это хорошая женщина, ребята! Она бы меня простила и приняла... Да детишков-то куда же денешь?

Но не попал Андрюха Колупаев ни на Украину, ни к ребятишкам своим в Забайкалье... Во время броска от Берлина к Праге, не спавший трое суток, уставший от работы и от войны, он наехал на противотанковую мину – и машину его разнесло вместе с имуществом и дремавшими в кузове солдатами. Уцелели из нашего взвода лишь те разгильдяи, которые по разным причинам отстали от своей машины. Среди них был и я – телефонист истребительного артдивизиона – Костя Самопряхин.

1971

Тревожный сон

Ружье было засунуто в штанину от ватных спецодежных брюк, еще укутано в детскую распашонку, в онучи и разное лоскутье, промасленное насквозь. Когда Суслопаров распеленал ружье из этого многослойного барахла и оно растопырилось двумя курками, желтыми от старого густого масла, Фаина как бы издали спросила:

– Заржавело небось?

Суслопаров хотел сказать: посмотрим, мол, поглядим – и уже взялся обрубком пальца за выдавленный рычажок замка, собираясь открыть ружье, но тут до него дошло – в голосе, которым Фаина спрашивала, нет огорчения и сожаления нет, что ружье заржавело и она потерпит убыток. А есть в этом голосе надежда, чуть обозначившая себя, но все же прорвавшаяся.

«Ну зачем оно тебе, зачем?» – хотел сказать Суслопаров и не сказал, только быстро взглянул на Фаину и опустил глаза.

Фаина стояла, прислонившись поясницей к устью русской печи, опираясь обеими руками на побеленный шесток, готовая в любую минуту забрать ружье, положить его обратно в сундук. Во взгляде ее, открытом и усталом, было одновременно и смятение, и покорность, и все та же надежда, что все обойдется, все будет как было, и в то же время во взгляде этом, не умеющем быть недобрым, таилось отчуждение, даже враждебность к нему, Суслопарову, который может насовсем унести ружье.

Суслопаров дакнул на рычажок, так и не подняв глаз. Ружье с хрустом открылось. Суслопаров, скорее по привычке, а не для чего-либо, заглянул в стволы, потом, пощелкивая ногтем, прошелся по ним, вдавил в отверстия ладонь и посмотрел на синеватые вдавыши на буграх ладони, как на сельсоветскую печать. После всего этого он шумно дохнул на тусклую от масла щеку ружья и вытер ее рукавом. Еще дохнул, еще вытер, и серебристая щека ружья бросила веселого зайца в избу.

Фаина поняла, что это последняя, далеко уже не главная прикидка к вещи, что участь ружья решена, и с нескрываемым сожалением вздохнула:

– Ружье без осечки. Теперь таких уже не делают.

И Суслопаров, лучше, чем она, знающий это ружье и тоже почему-то убежденный, что до войны ружья делали лучше, в тон ей добавил:

– Да, теперь таких нету. Потому и беру. – И, спросив тряпку, как бы окончательно отмел все возможные попытки Фаины к сопротивлению.

Фаина почти сердито, издали бросила ему пегую от стирки онучу и села на табуретку возле окна с мотком ниток, натянутым на ухват.

Она сматывала шерстяные нитки, то и дело промазывая мимо клубка, сматывала, остановившись взглядом на окне.

Суслопаров досуха в каждой щелке и скважине протирал ружье и всецело отдался этому занятию, едва сдерживая далеко затаившуюся охотничью дрожь. Руки металась по ружью, гладили его, по избе прыгал заяц, и раза два он угодил в глаза Фаине. Она досадливо морщилась и взглядывала в сторону Суслопарова. Но тот увлекся, ничего не замечал вокруг. Душа его в эти минуты была полна охотничьими предчувствиями, голову тревожили воспоминания, и он горевал по-мужицки обстоятельно и по-русски щемливо, как будто обидел кого или его обидели.

Ружье это они покупали с мужем Фаины, Василием, его другом детства, в одна тысяча девятьсот тридцать восьмом году. Покупали в только что построенном магазине Лысмановского леспромхоза. Василий тогда работал в тарном цехе на круглой пиле и года два как был

женат на Фаине, тоже работавшей в тарном цехе и тоже на пиле, только на двуручной: тyani к себе – отдай напарнику.

Василий, как в праздник, надел новое полупальто, только что подшитые валенки, оставляющие на снегу мелкую, с просяное семя, строчку, и вместе с Суслопаровым подался в магазин. Там они с пристрастием и дотошностью выбирали это ружье из десятка таких же замазученных, смертельно чужих двустволок.

Наконец отложили одну.

Народу в этой поре у прилавка скопилось уже дивно. Василий, сунув руку глубоко за пазуху, стиснул там деньги и даже малость побледнел, готовый вынуть их, эти деньги, или не вынимать. Но оторвать взгляда от ружья он уже не мог и раздумывать был уже не в силах. Заручаясь поддержкой, вытарашил глаза на дружка своего Суслопарова и с натугой выдохнул:

– Ну?

У Суслопарова не хватило духу ответить сразу. Он развел руками, с вопросительной улыбкой глядел на людей, на продавца, на Василия. Уж кто-кто, а он-то до глубины понимал важность момента.

Это он вместе с Васькой еще парнишкой мастерил деревянные ружья и пулял из них по чему попало, разил зверье, птиц и людей наповал. Стали школьниками, вместе же смастерили поджиг, добрый поджиг: ствол из латунной трубки, ручка – сухая береза, окованная жестью от консервной банки. Ствол туго-натуго набили спичками и еще порошу щепотку натрясли из старой коробки, чтоб уж жажнуло так жажнуло. Пальнуть хотелось каждому. Тянули жребий.

Васька вытащил короткую спичку.

Суслопаров, зажмурившись, ширкнул коробкой по спичке, приложенной к дырке в трубочке, – и тут как жажнуло, что пистоля вместе с пальцами Суслопарова, зацепив еще половину уха, разлетелась в разные стороны. Остались на правой руке Суслопарова три колышка вместо пальцев и синяя сыпь по щеке от пороха.

Но это нисколько не подействовало на него. Вырос он и стал таскаться с пистонками, должно быть еще пугачевских времен, разными обрезами, берданками, от которых все чего-нибудь отваливалось и которые не стреляли. Ружье настоящее он пока еще видел только во сне и потому был растерян даже больше, чем Василий.

Но он был в эту минуту всего-навсего сватом – не женихом. А у свата, как известно, ответственность совсем не та, что у жениха. Потому Суслопаров решительно хватил кулаком по прилавку так, что заговорили тарелки на весах:

– Берем!

Они несли по поселку ружье гордо, как носят женщины бесценного первенца. Широкое, стесанное клином у бороды, наподобие штыковой лопаты, лицо Василия сияло, и по нему пробегали разные хорошие чувства – и довольность собою, и отчаянность, и вдруг накатывающий испуг: шутка ли – ведь возврата вещей в казенной торговле нету... Но испуг гасила закипевшая любовь к этому, пока еще не обтертому, не обстрелянному, еще шибко лаковому, шибко вороному ружью.

– Жена! Отворяй ворота! – закричал на весь барак Василий, и чистенькая, ладненькая Фаина, давно уже проглядевшая окно (на покупку ружья ее, как бабу, из суеверных соображений не взяли), выскочила в коридор, где было много дверей, а ворот никаких не было.

– Мамоchка моя родная!.. – охнув, прижала руки к груди Фаина.

Она знала, что ружье принесут. Она вместе с Васей своим копейка по копейке, рубль по рублю откладывала на него, и все же покупка эта казалась ей далекой, почти неосуществимой. А тут на тебе! И во взгляде Фаины, в ее голосе – неподдельный испуг, потому что выросла она в семье небедовой, где никаких ружей, никакой пальбы сроду не бывало, а тут

такая гремучая силища поселится в их комнатушке, да еще над кроватью. Вдруг пальнет! Ружье-то и незаряженное, говорят, раз в году стреляет. Да и Василий очень уж пугать ее любит. Вон и сейчас сияет, доволен, что вбил в испуг. Но опять же он твердит, что без ружья, без охоты жизни не понимает. Она и сама видит, не слепая – не хватает чего-то человеку, томится он, а ей мнится, что от недостатков это ее женских каких-то.

Суслопаров с Василием внесли ружье в комнату, терли его подолами и рукавами чистых рубах, дышали на него, опять вытирали, взялись, как дети, курками щелкать. Фаина вздрагивала при каждом щелчке, ожидая, когда пальнет. Мужики забыли о ней совсем, подолгу глядели в стволы, отыскивая какие-то три тeneвых кольца, а их оказывалось то два, то вовсе ни одного, спорили, ругались, снова глядели, защуривав один глаз.

У Фаины шевельнулось ревнивое чувство к ружью.

Суслопаров, крупный парень с большой головой, с большими руками и с маленьким носом, еще не был пока женат и ружья не имел, но держал старшинство. Заметив упавшее настроение Фаины, он пробасил важно Василию, готовому теперь, по подозрению Фаины, не только днем, но и ночью обниматься с ружьем:

– Все! Дело за пристрелкой.

Фаина колдовала у плиты над сковородкою, в которой швырчала картошка. Суслопаров, глядя на окатистую спину Фаины и смутно представляя, какие чувства могут происходить с мужчиною, если обнять такую фигуристую бабенку, значительно проговорил:

– Береги ружье! Оно, как жена, на уход и ласку добром тебе ответит! – Сказал и подвинулся к столу.

Мужики выпили маленько и пошли на Лысманиху с ружьем и патронами. Палили там в торцы бревен и в старый таз. Вернулись довольные собою и всем на свете. Еще мало ношенная кепка Василия была, как терка, в дырках, и назавтра в цехе Василий всем показывал эту кепку, бахвалился. Мужики одобрительно трясли головами, прищелкивая языками: «Кучно!», «Резко!», «Дает!», «Сыплет!» – и всякие слова добавляли.

О Фаине Василий как будто совсем забыл, и вдруг возникшее отчуждение мужа повергло Фаину в обиду, готовую привести к слезам. Василий и раньше не очень-то обращал на нее внимание в цехе, на работе, при людях, в особенности при мужиках. Нежнее, чем Файка, не кликал и вообще по возможности редко встречался тут с нею и держался предельно сурово. Но Фаина-то знала, что на самом деле он ручной, ласковый. Дома зовет ее Фаинушкой, приспичит, так и Фаюшкой, и горошинкой, и синичкой, и такие слова говорит, какие под страхом казни в другом месте другому человеку никогда не скажет.

Фаина понимала – так надо. Он – мужик. И в нем гордость такая мужицкая сидит. Но гордость гордостью, а она все же вопрос поставит ребром – жена или ружье.

Порешив так, Фаина, перекрывая звон и визг пил, которыми был переполнен маленький цех, еще более тонким и властным голосом позвала Василия обедать. Расстелив на коленях платок, она стала лупить яйцо себе. Василий предварительно стукнул яйцом по лбу Фаины так, что сломалась скорлупка. Но она не улыбнулась шутке.

Съели харчи, выпили из бутылки молоко. Василий спустился к Лысманихе, вымыл бутылку в проруби и, вернувшись, сказал, что через неделю уйдет дня на два в лес, охотиться. И так он это буднично сказал, что с Фаины весь гранит ссыпался и стало ясно ей – возражать бесполезно: в жизнь их вошла перемена. Заранее попыталась Фаина представить, как ей будет одиноко и тревожно без мужа, но представить до конца не могла, потому как никогда еще в разлуке с мужем больше ночи не жила.

Первый раз Фаина провела почти целую неделю без сна и покоя, потому что вместо трех дней Василий пробыл в лесу семь. Она металась по бараку. Она бегала в контору и требовала искать мужиков и поражалась спокойствию и равнодушию людей. Она проклинала Суслопарова, который сманил Василия на сохатого. Пропали он пропадом, этот сохатый,

вместе с Суслопаровым, это ружье и тайга. Вот только явятся (явились бы!), и она сделает Суслопарову от ворот поворот, а потом станет точить мужа и доточит до самого корня. Они возьмут расчет и уедут в город. Из города не больно в тайгу ускачешь! Она, брат, тоже умная!

Но к той поре, как прибыть домой мужу, Фаина так уже исстрадалась и обессилела, что хватило ее лишь на то, чтобы привалиться к дымом пахнущей телогрейке Василия и зарыться в нее носом. Василий был в редкой стальной щетине, диковато-шалый. Зверем пахли руки его, тискавшие и мявшие Фаину. И был он совсем-совсем усталый.

Он что-то начинал рассказывать и тут же перешибал себя, просил баню истопить, пытался поест, но только выпил семь кружек чаю с сахаром, сверх того еще стакан браги, с которой вдруг захмелел, ослабел и ничего разумного уже ни сказать, ни сделать не мог.

Назавтра из тайги привезли во выюках окровавленные мешки, на закорках Василий приволок голову сохатого с разъемистыми рогами, напоминавшими закорки цветка – марьиного корня. Голову свалили около плиты на скамейку. Недожеванная ветка в зубах торчала. Остывший глаз был под цвет речного голыша, и по нему рассыпался золотой крупой, осел на дно дрожливый всполох ружейного пламени.

Фаина шарахалась от плиты по совсем уж теперь тесной комнатухе, роняла посуду, табуретки и, что делать с головою, как подступиться к такой горе мяса, не знала.

Василий сам со всем управился. Мясо сдал в магазин, голову опалил, изрубил на ступень, рога спрятал под кроватью.

И сколько было потом у Фаины этих волнений, этого нетерпеливого ожидания, так и не ставшего спокойной привычкой. Сколько было забот, хлопот, торопливых сборов в охотничью пору. Сколько она слышала от Василия рассказов с пересказами, с захлебом, рассказов, обрывающихся провальным сном...

От рассказов о темных ночах, о лосях, о берлогах, о медведях дух захватывало, сон летел прочь. Но без всего этого жизни уже не могло быть, и не мыслилась она по-другому.

А вообще-то они разлучались редко. Как-то Василий ездил на три месяца в город на курсы, раза три-четыре на военную комиссию – и все. Он никогда заранее не предупреждал о приезде.

Он любил удивлять ее.

Любил, чтобы у них все было весело и непривычно.

А она, по женской норовистости, все делала вид, что не нравится ей такой семейный уклад, что все у них не как у добрых людей, и, когда муж возвращался домой, она, заслышав его шаги, отворачивалась. Вовсе она и не чуя, как он открывает дверь, как крадется к ней. Сердце вот только млеет да по спине холодок идет.

Однажды, так вот подкравшись, он кинул ей на плечи что-то легкое, пушистое, живое будто. Это был платок оренбургский – ее давняя мечта.

И вот уж все, сердиться дальше невозможно, припасенные слова тут же куда-то делись. Слабая баба Фаина. Трогает руками платок, гладит его, и целует за обновку расплывшееся до ушей лицо мужа, и говорит ему совсем другие слова: «Ну, что мне с тобой делать? Вся кровь моя почернела. Буду я рожать детей припадочных из-за тебя, лешего...»

А он хохочет, и ничему не верит из ее слов, и никакого значения им не придает, только норовит поздороваться, рукою трогает чего не надо. Она хлопает его по руке: «Не балуй!»

А то раз на работе, пробегая по цеху, мимоходом сказал: «Фай! А ты пельмени из рябков ела?» Подозревая розыгрыш или еще какую затею, она неуверенно спросила: «А что?» – «Да ничего, так», – сказал Василий и зевнул при этом.

Но она-то знала, чем все это кончится.

В воскресенье Василий до свету умчался в лес. Пришел поздно вечером, весь в паутине, и закричал: «Фай! Зарублено! Завтра пельмени из рябка делаем!»

И назавтра показал, как нужно обрезать мясо с костей рябчиков, с каких именно костей, как разводить мясо молоком, до какой густоты, какие нужно делать маленькие-маленькие пельмешки и в каком пахучем-пахучем бульоне их варить.

Показал, как всегда, раз только.

Он всему учился с маху, все одолевал за раз и сердился, если люди то же самое делали за два раза.

Фаина забеременела и сделалась совсем как горошина. Она все чего-то шила и строжила, да скоблила столы, да подбеливала печку и без того белоснежную. Василий затеял дом над Лысманихой, за поселком, у березового сколка, где много травы и ветру, речка рядом, чтобы сын, по его замыслу, сразу же хлебнул всего этого и сделался охотником. Василий даже имя придумал сыну, легкое имя, перекатывающееся во рту, как камешек-голышек, – Аркашка.

Но родилась Маришка.

Дом к этой поре был наполовину готов, и они сложили в нем печку, переселились весною в кухню, горницу Василий думал за лето отделать.

В ту весну Василию в тайгу некогда было бегать. Он томился по охоте. Иной раз уж поздно вечером, когда плотничать становилось нельзя, забрасывал за плечо ружье, брал на руки дочку, кликал с собою Фаину, и они шли на берег Лысманихи. Усадив жену на обсохший бугорок, Василий чуть отбегал в сторону, к срезу березовой рощицы, и оттуда голосом давал знать о себе: «Я здесь, Фаюшка, недалече!..»

А ей все равно немножко боязно сначала. Но, обсидевшись, пообвыкнув, она переставала с недоверием озиаться, опускала руки, притиснувшие дочку. И все шумы и шорохи отдалялись. Ее охватывали покой, умиротворенность. Маришка спала, не выпуская груди, и через какое-то время начинала быстро-быстро причмокивать.

Томительная дневная усталость мягко пеленала Фаину, и она чувствовала, как эта трудовая усталость, этот покой, что пришел из мира в душу ее, вместе с молоком сочатся в дочку, насыщая ее, передавая ей материнскую доброту, трудолюбивость – все, что есть в Фаине, все ее соки, всю душу, всю любовь к этому привычному, но каждую весну обновляющемуся миру, который она с закрытыми глазами и даже во тьме ночной может представить себе отчетливо и ясно.

Верткую, порывистую веснами, летом говорливую светленькую и утихомиренную, как божья старушка, Лысманиху, со студеной водой, которая в чаю крепка, в бане мягка. Волос от такой воды куделистый делается, и перхоть исчезает, и шелудивость с кожи мигом сходит. А с виду речка и речка, кто не знает – мимо пройдет, кто ведает – плюнуть в нее не решится.

Вокруг поселка по косогорам и осыпям, в особенности по валу маленькой плотинки, – желтая россыпь цветов мать-и-мачехи. Кажется Фаине, что все искры, вылетающие за зиму из труб поселка, раздуло внешним ветром по земле. Возле ног Фаины по бережку речки клонятся долу, закрываются к вечеру белыми ушками лепестков тонконогие ветреницы, меж них синеют, ерошатся хохлатки с кружевными листьями. Хохлатки всегда упруги и холодны, потому что в трубочках сине-розовеньких цветов даже днем не высыхает роса.

Когда Фаина была маленькая, она высасывала росу из хохлаток и медуниц – говорили ей: «Красивая будешь!» И не зря говорили – Василий уверял: «Самая красивая!»

Травую еще не густо пахнет, березником резко, горьковато. Березник весь в сережках и забусел в вершинах. На стволах его трепыхаются, хлопаются белые пленки. Береза старую кожицу меняет на новую. Новая кожица срыжа, и под нею ходит-бродит сок и будит в ветках листья. Как листья прочикнутся на ветках, сок в дереве остановится. Зелено все станет кругом, тепло будет, дочка станет ползать по траве... Благодать.

А пока самая сейчас работа у земли, самые хлопоты, самое кружение, самые радостные песни. Под песни одолеет она все: снег лежалый смоем, лед унесет, мусор травую укроет, грязь высушит.

«Большая земля-то, родливая. Без земли что мы были бы?»

Так сидит над Лысманихой Фаина, укачивает дочку и себя неторопливыми, тихими думами. Землю ослаивает легкий туман, низкий, студеной. В пелене его, не заглушая, шумит затаеженная Лысманиха и, обгоняя медленный туман, мчит всю вешнюю мочь до самой Камы. Толкнувшись в ее большой и мягкий бок, засыпает она, как дитя подле матери. Туман быстро истаивает, будто выдохнула его земля и снова замерла, чтобы не мешать Фаине и ее дочке, вдруг сладко, по-взрослому зевнувшей и открывшей глаза, видеть, и слышать, и жить в самих себе, но в то же время в этом до зябкости ошутимом мире.

Вдали, там, где за березником запекается и тоже успокаивается красное небо, раздается отрывистое «цвырк», похожее на вскрик вспугнутой трясогузки, а вслед за этим ровно бы поскрипывание грубой кожи. Еще вскрик и еще скрежет кожи. В нем чудится какая-то непонятная, чужая, зовущая музыка. Но только ухо начинает привыкать к кожаному скрипу, как его снова четко, словно нитку ножницами, обрезаем тревожный вскрик.

Фаина видит, как поднимается с пенька и напряженно выпрямляется со вскинутым ружьем Василий. Она тоже напрягается, и дочка начинает беспокойно возиться у груди, потому что все в Фаине цепенеет и даже молоко останавливается. Она, притиснув дочку к себе, не дает ей шевельнуться, пискнуть.

Ждет.

Из зари, покрывшейся темно-синей окалиной, из тлеющих вершин березника, как из далеких молчаливых веков, с зовущим криком и хорканьем возникает темная тень птицы, и замерший лес вдруг наполняется ожиданием. Кажется, облетает его постовой, чтобы проверить, как в нем и что в нем, в этом еще мокро, неприбранном голом лесу. Длинноклювая, неуклюжая с виду птица роняет на землю зовущие звуки, будто отсчитывая последние секунды своей жизни. Фаине хочется закричать Василию, остановить птицу, но она не в силах оторвать от птицы взгляда, как птица не в силах остановить своего наполненного любовным ожиданием полета.

Только смерть может остановить ее.

Фаина ждет, но всегда внезапно видит сыпанувшую из ружья полоску искр и слышит припоздалый грохот выстрела. Птица, споткнувшись и оттопырив крыло, легко и послушно валится с неба в березы.

И все.

Снова успокаивается на мгновение вздрогнувшая земля, только грустно-грустно становится.

Они сидят трое – отец, мать и дочка – над речкой Лысманихой. На траве лежит птица вальдшнеп с чуть прищемленным круглым глазом, вся в нарядном пере, будто составляли ее из прошлогодних листьев, кое-где по лепестку мать-и-мачехи клеили и не забыли светящихся гнилушек подсыпать на спину и крылья. После все это позолотили весенним солнечным лучом.

Оборвалась песня птицы, оборвался еще один полет, еще одна живая любовь. Но над березовым колком, на грани темного леса, уже совсем в темноте и все же отделяющиеся от темноты черными размашистыми тенями летают и летают с хорканьем и цвырканием другие птицы, томимые любовью и жаждой вечного восполнения той жизни, которая ежегодно и ежеминутно уходит с земли. Дочка Маришка выпрастывает руку из одеяльца, трогает неподвижный глаз птицы пальчиком и пугливо отдергивает. Что-то уже и она чувствует!

В поселке гаснут окна. На земле вылудилась и замерла молодая с проплешинами травка. От Лысманихи наплывают холодные волны пара, катятся по опушке леса, густеют

там и уже плотно ползут по березнику. Кажется, что березник выше черных колен захлестнуло белопенным разливом. На островках стихают кулики. Лишь за речкою, на большой лиственнице, какая-то ночная птица мрачно и мерно роняет: «Бб-бииннь», «бб-биинь».

Вальдшнепы перестали тянуть. Все погружается в тревожный весенний сон, и они трое – отец, мать и дочка – идут в свой недостроенный дом по холодной траве. Идут молча, медленно, хотя и озябли, хотя и в тепло, в постель хочется.

Обувь темнеет от мокра. Слышно, как под ногами со скрипом лопаются непокорные всходы чемерицы, похожие на свернутый флажок железнодорожника. Фаина за жестяной клюв держит вяло раскачивающуюся птицу, Василий несет ребенка. В поселке почти нет огней и шума, лишь светятся фонари вокруг лесопильного цеха да в окне конторы снуло горит лампешка – должно быть, нарядчик засиделся.

Дом, еще пахнувший смолистой тайгой, преющими щепками, удушливой олифой, отчужденно стоит в стороне от поселковых посадок и закоулков. Фаина скорее спешит повернуть выключатель, осветить дом и радуется тому, что следом за нею входят еще две живые души, и думает с тревогой – окажись она одна, ни за что бы не решилась зайти сейчас в темный, отшибленный от поселка дом, а жить в нем и подавно.

Но ей пришлось входить в этот дом одной много раз и жить в нем одиноко много лет. Началась война.

Василий наскоро забрал чурбаками два только что прорубленных окна, вставил и заклинил уже готовые косяки и раму в третье и отправился на пристань с котомкой за плечом.

На пристани голосили бабы, играли гармошки, пели, плакали и целовались. Было шумно, суетно, тревожно. Фаина растерялась от всего этого, спрашивала мужа о портянках, глупая, об обуви, все время натыкалась взглядом на плечо, где не было ружья.

Василий уходил в армию весело, как на охоту. Недоумевал, чего это все орут!

Ну война – эка дело! Поедут вот, расчихвостят немцев так, чтобы не совали свое свиное рыло в наш советский огород, – и домой.

Василий дурачился, нажимал жестким, записелым от курева пальцем нос жены, говорил шутливо: «Мотри, горошина, не загуляй тут у меня!» Она колотила его по рукам: «У-у, дурной!»

И лишь когда загудел пароход и начал отваливать, вдруг остро кольнуло Фаину в сердце, она всполошенно рванулась за пароходом к Василию.

А между ними уже вода...

В недостроенной избе зимою сделалось холодно, заболела воспалением легких дочка, не стало хватать пайка, и Фаина променяла пуховую шаль на буханку хлеба. Из лесопилки передвинули Фаину работать на плотбище, расположенное на льду в ущелье Лысманихи.

Но самое страшное было не это. От Василия через три месяца перестали приходить письма. Вот это было страшно. Потом пришла казенная бумага. Фаина кинула в огонь эту бумагу.

Ее Василий не мог пропасть без вести!

Уходя на работу, она упрямо прятала ключ за наличник и оставляла еду на кухонном столе, под рушником. Ночью даже во сне сторожко ждала шагов, твердых, громких, какие могут быть у хозяина.

Кончилась война.

Выросла и уехала в город дочка. Фаина отпустила ее от себя без особой боли, потому что всегда любила дочь отдельно от мужа. С нею не сделалось того, что делалось с женщинами, которые любили мужей до первого ребенка.

Хозяин вечен.

Хозяин должен остаться при жене до самой смерти. Фаина хотела, чтобы они расстались с жизнью и друг с другом так же, как ее отец-хлебопашец. Когда его свалило и он понял – насовсем, – остановил мать, заголосившую было над ним: «Все правильно. Люди смертны, и кто-то должен первый. Лучше я. Ты – женщина, ты обиходишь меня, оплачешь и снарядишь...»

«Обиходишь и снарядишь...»

Кто лишил их этого права? Кто не дал им прожить вместе жизнь?

Она жадно слушала рассказы фронтовиков и, жалея не себя, а людей, утешалась этой бабьей жалостью и слезами. Услышит о том, как под Ленинградом люди голодовали, и про себя уже отмечает: «Вот Вася мой тоже...» Расскажут фронтовики, как они сутки стояли по горло в ледяной болотине, а другие, наоборот, двое суток лежали под бомбежкой и обстрелами, уткнувшись носом в песок, – и протяжно вздохнет: «Где-то и Вася там бедовал». И что из того, что болото было под Великими Луками, а песок и безводье под Джанкоем.

Ее Вася был на всем фронте. Нес всю войну на плечах своих и страдал всею войною, а она страдала вместе с ним и со всеми людьми.

Но иной раз ее захлестывала такая тоска, беда оставалась с нею один на один, и тогда дни делались тяжелыми, ночи нескончаемо длинными.

Бабы поселковые иной раз жаловались на житье, на драчливых и пьяных мужей. Не понимали они, эти бабы, что пропитую зарплату и синяки можно пересчитать. А кто подсчитает одинокие ночи, в которые перегорало еще ярое бабье нутро? Кто родит за нее Аркашку? Аркашкиных детей – ее внуков и правнуков?

Ей часто снился один и тот же сон: поле подсолнухов, бесконечное, желтое, радостное. Но вдруг стиснет горло во сне, зайдет сердце, застонет Фаина не просыпаясь, всхлипнет немо и мучительно. Это она видит, как с подсолнухов валятся головы рябыми лицами вниз, стриженными шершавыми затылками кверху.

По живому яркому полю проносится черной молнией полоса смерти.

И вот уже не подсолнухи, не поле видятся ей. Видится остроклювая пуля, попавшая в Василия и зримо улетающая в глубь времен. Пуля эта скашивает шеренгу русоволосых, веселых детей, так схожих лицом с ушастыми солноворотами.

Ночами снятся вдове нерожденные дети.

– Эхмм-ма! – выдохнул Суслопаров, обтерев ружье и положив полсотенную на клеенку.

Деньга эта бумажная лежала на чистом столе, трудовая, мозолями добытая, но все равно не было никакой приятности от покупки, какой-то конфуз был.

– Э-эхмм-ма! – повторил Суслопаров и пригорюнился, оперевшись на увеченную руку поврежденным ухом, похожим на пельмень. Но он тут же встряхнулся, сунул ружье в угол, за рукомойник, бросил шапку на голову. – Я сейчас, Фаинушка! – крикнул уже из сеней.

Фаинушкой звал ее только Василий да еще Суслопаров, всегда почему-то стесняющийся ее. Скорей всего потому, что такой большой, а на фронте не был – спичку счастливую вытянул. И еще оттого, что помнил Фаину кругленькой, фигуристой, когда у нее, как говорится, все было на месте, все при себе. Оно и сейчас без нарушений как будто. Такой же цветочный фартучек на ней, завязанный на окатистой спине бантиком, и грудь бойко круглится, и лицо нестарое, даже румянец нет-нет да и проснется на нем, и волосу седого совсем мало, так лишь слегка задело порошицей.

Но через глаза видно, как обвисло все у женщины внутри, как ветшает ее душа, и на мир с его суетою, радостями и горестями она уже начинает смотреть с усталым спокойствием и закоренелой скорбью.

Суслопаров все думал, как поделикатнее убедить Фаину, что все времена ожиданий уже минули, хотел «пристроить» ее к детному вдовцу – старшине сплавщицкого катера Вахмянину. Суслопаров даже придумал слова, какие должен сказать Фаине, даже шутку придумал насчет Писания, в котором говорится: «Возлюби ближнего своего».

Он почему-то был убежден, что с шуткой легче и лучше получится. Но начать разговор с шутки так и не решился, а привез как-то дрова на леспромхозовском коне, осмотрел дом и буркнул: «Жизнь-то проходит. Думаешь, долгая она?»

И Фаина подтвердила: «Недолгая».

Все, наверное, сладилося бы в ближайшее время к лучшему, да черт дернул кинемеханика завезти в леспромхоз длинную, переживательную картину «Люди и звери». Посмотрела ее Фаина и от Вахмянина отказалась наотрез.

Суслопаров и ружье выманил у нее не без умысла. Деньги ей, само собой, нужны: пора ремонтировать так и не достроенный дом, работает она второй год нянькою в детсаде, зарплата так себе, на харчи одни. На сплаве уж не может, от ревматизма обезножела.

«А может, и зря я затеял с ружьем-то? Может, у ней это последняя отрада? А я ее отнял. Эх, жизнь ты, жестянка!» – смятенно думал и ругался Суслопаров, спеша к магазину.

Возвратившись, он с нарочитой смелостью стукнул о стол поллитрой и развеселым голосом возгласил:

– Обмыть покупку полагается? Полагается!

Фаина, по-старушечьи строго поджав губы, следила за тем, как он шумно и грузно ходил по избе, и в глазах ее была настороженность. «Неужели даже и на меня думает – приставить буду пьяный?» – садясь к столу и перехватив взгляд Фаины, подумал Суслопаров и решил: выше нормы не принимать.

Он махом выплеснул в рот полстакана водки, покривился и захрустел капустой. Фаина, как цыпушка, клынула носом в рюмку и утерла ладонью губы украдкой.

– Так и не научилась, Фаинушка?

– Так и не научилась, – тихо отозвалась она и, потупившись, дрогнула голосом: – Может, надо было научиться пить, матькаться, – может, легче б...

За Лысманихой комом скатился с горы и раскололся выстрел. Немного погодя другой, третий. С нынешней воскресной вечерней зари открывалась охота, и местные охотники, опережая городских, еще засветло гуляли по угодьям и спешили побить и разогнать непуганую птицу.

Суслопаров чуть не заговорил про охоту, но вовремя остановился. Собирался было поговорить о Вахмянине – мужике непьющем, негулевым, со всех точек зрения вдове подходящем, и тоже не решился. Получалось так, что всякой темы в разговоре с Фаиной боязно коснуться, и от этого чувство виновности перед нею еще больше возрастало, от выпивки возникала слюнявая жалость к бабе.

Он поскорее допил водку, молча поднялся, надел телогрейку, шапку, взял ружье и, приоткрыв дверь, глухо и по-трезвому стеснительно обронил:

– Прости, если что не так...

– Что ты, что ты! – замахала руками Фаина, радуясь тому, что он не бередил ее разговорами, не полез с лапами и не уронил ее давнего к нему уважения. – Стреляй на здоровье! Ружье без осечки, верное... – Больше о ружье она ничего не могла сказать. – Ну да сам знаешь... Хорошо, хоть к тебе попало...

Он хотел что-то сказать, но поперхнулся, закашлялся и, сдвинув шапку на изуродованное ухо, которое даже весной мерзло, круто повернувшись, пошел в гору, к дому, стоявшему верстах в двух от поселка, в устье Лысманихи. Возле этого дома на пестрой мачте болтались разные речные знаки. Суслопаров служил бакенщиком и еще разводил для лесхоза саженцы кедров и лиственниц.

Фаина, неторопливо убирая со стола, втягивала ноздрями давно выветрившийся из избы запах водки, мужицкого пота и пожалела, что Суслопаров не покурил.

Протерев до скрипа стакан и рюмку, она смахнула со стола крошки, затем полила тощий от постоянной полутьмы фикус, доставшийся еще от матери и дуром на пол-избы выросший, но никогда не цветущий розан. Помахала веником по полу, вытерла лосиные рога, прибитые над кроватью, те первые еще рога, похожие на марьины корни. Каждый отро-сточек протерла, каждую впадинку на кости. Нигде больше не было ни соринки, ни пепла табачного, не торчали махорочные окурки в цветах, не наслежено на полосатых половиках, которые вроде бы уж прилипли к полу. Из щелей пола куда-то девались дробь и пистоны отстрелянные. Прежде сплошь ими утыканы были щели, будто желтыми тараканами, и вот куда-то подевались.

Все куда-то подевалось.

Всякие мелкие мужнины вещицы и штуковины исчезли так же незаметно, как появились когда-то. Рукавицы где попало не валялись, не свисали с полатей ремни болотных сапог, пахнущие дегтем, не торчали в оконном косяке шило, сапожная игла, в желобках рамы не было старых свинцовых пломб, рыболовных крючков, гнутых гвоздиков и другого необходимого мастерскому мужику добра. Чисто в избе, ничего не тронут, не сдвинуто, и не на кого поворчать за мужицкий, такой, оказывается, необходимый беспорядок в жилом доме.

В других домах хоть письма от погибших есть. А тут и письма пропали. Всего их было четыре штуки, но осталась, давно еще, Маришка одна дома, добыла эти письма как-то из сундука и в горячую плиту сунула. Бумага вывалилась на пол, дыра прогорела возле печки.

Дыру Фаина заколачивала наспех. До сих пор видно черное из-под железа.

И до сих пор угнетает ее воспоминание о том, как она изо всей силы била ладонью по худенькому голому задку дочку, и без того почти задохнувшуюся в дыму.

Плакала и била.

Без писем, без вещей в воспоминаниях появляются дыры. Фаина упрямо латает их, и теперь ей даже огорчения из прошлой жизни кажутся неогорчительными. Но на сколько хватит этих ее усилий?

Она часто снимает со стены портрет мужа. На портрете мужик с плоским лицом, похожим на лопату. Тот Василий, которого она помнила, был совсем-совсем другой. Он был таким, каким его ни фотограф и никто на свете не мог увидеть, кроме нее. Взять глаза на портрете. Они изумленные, ошарашенные, будто сел человек мимо стула, а его в это время засняли. В тех глазах, какие она знала, было радостное крошево из приветливости, широко-душия и озорства. А уж если нет тех глаз, то и смотреть не на что.

Без глаз как без души.

Фаина поправила половичок на сундуке, оглянулась как бы заново кругом, и в доме этом с давно прорубленными в горнице, но так и не поймавшими солнца окнами, с переко-сившимся потолком, с тихой и чистой пустотой, в доме этом вдруг сделалось ей неловко, как в пароходе, который стоял в устье Лысманихи, без машин, без гудка и даже без руля. Колесо-то от руля было, но руль уже ничего не поворачивал, потому что пароход сделался спортивной базой. С осени он пустовал. В пароходе этом спасались сплавщики от ветра. И всегда люди почему-то затихали в нем, а ребяташки не любили играть в пароходе, из кото-рого вынута было сердце.

Испугавшись такого нехорошего сравнения родного дома с отслужившим свой век пароходом, который уже никуда не пойдет, и спасаясь от пустого дома, Фаина залезла на печь, обжитую, душную, теплую, поправила сбившуюся с матраца мешковину, перевернула подушку нагретой стороной, прижалась к ней и стала плакать.

Она плакала и час, и два, и три, все плотнее вжимаясь в уголок за трубу, но не для того, чтобы острее почувствовать свое одиночество и сделать слаже печаль, как это бывает у девушек, вдруг настигнутых первой разлукой, первой бедой.

В слезах ее не было ни сладости, ни облегчения.

Постукивали в лесу выстрелы. Над березовым колком, почти уже сведенным за войну бабами на дрова, поздним вечером ахнул выстрел, раскатился по Лысманихе и по надгорьям. После него как отрубилло – ни выстрелов, ни стуку, ни шуму.

Темнота густым потоком хлынула в кухонное окно, Лысманиха набухла туманом, обозначив себя вплоть до Камы. Белой жилою перечеркнуло окно в Фаинином доме.

Но и в ночи, сквозь туман, как до войны, правда, гораздо реже, тянули вальдшнепы, уставившись острым клювом и чутким взглядом в землю, отдающую прелью и нарождающейся травой; пиликали неугомонные кулички по берегам; на ночь закрывались белыми ушками ветреницы; распарывая ножевými всходами кожу земли, выходила чемерица; бродили соки в деревьях, пробуждая листву; студеный пар узорчатой прошвой ложился у подножий и на опушках темного леса; новый месяц прободнул небо острыми рожками; засыпал лесной поселок под стук движка, гасли в нем огни и голоса; умиралось ненадолго полупьяное вешнее буйство – природа скапливала истраченные за день силы для завтрашнего, еще более разгульного праздника.

Ночь была на земле, весенняя, короткая, беспокойная ночь. И всю эту ночь в пустом доме над речкой Лысманихой тихо, словно боясь помешать весне в ее великих делах и таинствах, плакала женщина.

Она прощалась с мужем. Прощалась двадцать лет спустя после его смерти.

И теперь уж навсегда.

1964

Бери да помни

Арсений Каурин познакомился с Фисой летом сорок пятого года, после того как прибыл с нестроевыми на смену девушкам в военно-почтовый пункт.

Фиса работала здесь сортировщицей писем и одновременно ведала библиотекой. Арсения, как наиболее грамотного человека, «бросили» на библиотеку.

Книжки пересчитывали после работы. Засиживались допоздна. Вообще-то книг было не так уж много, их можно было пересчитать быстро. Но как-то так получалось, что дело это растянулось на несколько вечеров. Если какой-либо книжки не доставало, Фиса со вздохом говорила, как будто точку ставила:

– Девочки зачитали. – Потом спохватывалась, испуганно таращила на Арсения большие, младенчески голубые глаза: – Ой, что мне будет, Арся?

Характер у Фисы был безоблачный, до наивности детский. Сердиться она не умела, настаивать и перечить не могла, и потому почти половину книг у нее растащили.

Когда весь «фонд» был пересчитан и Арсений хмуро думал, как ему быть: докладывать ли начальству о нехватке книг или как-то выкручиваться, Фиса заявила как о само собою разумеющемся:

– Теперь меня посадят в тюрьму... – И, подождав какого-нибудь ответа от Арсения, сама себя утешала: – Ну, ничего. Там тоже люди сидят. У меня дядя сидел. Живой вернулся. Да за книги много и не дадут. Кабы я деньги или хлеб растратила... – И, совсем уж успокоившись, попросила: – Арся, ты бы проводил меня домой. Я одна боюсь идти – темно.

Арсений надел пилотку, и они отправились на окраину местечка по безлюдным, заросшим колючим можжевельником улочкам, которые то спускались вниз, вроде бы к ручью, то поднимались вверх, вроде бы от ручья. Но никаких ручьев нигде не было. Лишь тоскливо маячили бадьи на колодезных журавлях, падали капли и звонко булькали в срубах да чернела вытопанная подле колодцев земля с пятнышками белеющего под луной мха. Молчаливые украинские сады ломились от яблок и груш. Совсем близко с тяжелым кряхтеньем осела на низкий плетень ветвь яблони. Фиса приостановилась, протянула руку в темноту и вынула из нее два тронутых прохладной росой яблока. Яблоко покрупнее она отдала Арсению и, когда он взял его, со смехом крикнула:

– Бери да помни!

Это у нее игра такая, тоже детская, тоже наивная. Арсений уже давно забыл о той игре и вообще о многом забыл в окопах, а она вот помнила. Чудная девка, непонятная, сумела сохранить все-все: чистоту, способность радоваться, без оглядки воспринимать мир и все в этом мире. О таких вот говорят: душа нараспашку. После боев и смертей, после госпиталей и пересылок всегда тянет к светлому, радостному, и Арсения тянуло к этой девушке, так тянуло, что он уже с трудом сдерживался, чтобы не наговорить ей всякой нежной всячины, чтобы не зацеловать ее, не затискать.

Арсений взял согревшееся в ладони яблоко, отвернулся от Фисы и стал глазеть на небо. Ничего там особенного не было. Неполная луна зацепилась рогом за крайние сады на бугре, и как будто сомлела от густых запахов и тишины, и задремала, забыв про службу. Подле нее тоже дремно помигивали обесцвеченные и оттого мелкие звезды.

Мирная ночь стояла над украинским местечком. Все как на картинах, все как в книжках, все как у Гоголя. Словно не было никакой войны, и стояла вечно здесь вот эта тишина, и ничего не горело, не полыхало, не рушилось от снарядов и бомб, и люди не обмирали от страха, а спали себе под соломенными крышами на лежанцах за печкой, и никто их не тревожил, кроме блох.

«И всего-то нужно людям малую малость – мир, – подумал Арсений, – и все приходит в норму, и мать-земля окружает нас покоем. Дорогим, долгожданным покоем! А книжки сама разбазарила, сама пусть и расхлебывает. Так-то».

Он сердился, но как-то несерьезно сердился. Он ведь знал, что вслед за девчонками вот-вот отправят по домам и их, нестроевиков, и, конечно же, спишут эту походную, очень маленькую библиотеку. Списывают кое-что и поценней. А стоило бы накрутить хвост этой самой Фисе, чтоб поумней в другой раз была. Да разве ей поможет? Это ж ангелица! Глянет разок – и уже все, сердиться невозможно.

«Что-то уж очень много стал я думать о ней», – поймал себя Арсений, а не думать уже не мог, и, откровенно говоря, ему уже не хотелось, чтобы она вот так взяла и уехала. Как-то уж очень просто и прочно они встретились. Бродили, бродили по свету, колесили по земле, и вот круг замкнулся, и искать вроде бы уж больше ничего не надо.

Ребята, прибывшие вместе с Арсением из госпиталей на смену девушкам, наверсты-вали утерянное, «крутили любовь» направо и налево. Девушек в местечке, военных и гражданских, было много, лишковато даже.

Арсений же разом успокоился. Девушка с удивительными тихими глазами была рядом, разговаривала без всякого смущения о чем угодно, мурлыкала песню, невзирая на растрату, и вообще вела себя так, будто они давно-давно вместе, и все у них как надо, и в запасе еще целая вечность, и никуда они друг от друга не денутся.

А между тем день отъезда Фисы приближался. Арсению было за двадцать, уже подка-тывало к двадцати одному. Близость девушки волновала его все больше, и так тянуло обнять ее, так тянуло, но он стыдливо увиливал. За этим могло последовать такое, о чем и думать-то было до сладости жутко...

Будь бы Фиса другой, пожалуй, и все сложилось бы по-другому. А с такой как быть? Сделай чего не так – оскорбишь, стыда не оберешься, – дитя и дитя. Ангелица, одним словом. «Нет уж, ну ее подальше, если чему быть, пусть уж как-нибудь само собою сдела-ется», – урезонивал себя Арсений.

Фиса дохрумкала яблоко, по-мальчишески пнула огрызок, утерла губы, одновременно прикрывая зевок, и спросила:

– Сорвать еще? Тут их гибель! Ты чего хмурый, Арся?

– Ничего, – напряженно ответил Арсений, отводя взгляд от груди девушки, оттопырив-шей гимнастерку, на которой поблескивала медаль.

– Ой, Арся, а мне ведь скоро уезжать, – печально сказала Фиса, – девочки из штаба говорили – документы уже заготовлены.

– Тебе что, не хочется?

– Я не знаю.

– А кто знает?

– Пушкин, наверно, – с беззаботным смехом ответила она, уже справившись с нака-тившей было на нее грустью.

– Послушай, – сказал Арсений. И когда Фиса внимательно уставилась на него, он схва-тил ее, прижал к себе, впился губами в ее губы.

Она слабо уперлась руками в его грудь и медленно, чтобы не обидеть, отстранилась.

– Ты, поди, прокусил мне губу? Ты все делаешь сердито, даже целуешь сердито...

– Как умею. (Какой же мужчина признается в том, что он не умеет целоваться!)

– Да, конечно, – вздохнула она. – Вы – фронтовики, люди нервные, вы много пережили. Я на тебя не сержусь...

– Не сердишься, да? – обнял ее Арсений, и она согласно тряхнула головой на его груди.

Он целовал ее теперь нежно, бережно и чувствовал, как она слабеет и все тяжелее обвисает на его руках.

Луна покончила с дремотой, уже выпуталась из садов, прорезала плоским серпом вершины дальних тополей и повисла над ними. Было все так же тихо. Арсений стискивал Фису все яростней, целовал жарче.

– Не надо, Арся, – жалобно попросила она. – Не надо этого. Я никогда...

Арсений еще не знал женщины, и, если ему говорили: «Не надо», он думал, что и в самом деле не надо. Потому он и выпустил ее, растрепанную, мятую, и, злясь на себя, буркнул:

– Ты же военная...

Фиса отступила в тень плетня:

– Ну и что?

Он ничего не ответил. Фиса грустно уронила:

– Да, я знаю, военным девушкам не верят. Но ты же сам видел, что у нас почти нет в части мужчин. Которые были – поженились...

– Кто хочет, тот всегда найдет!

– Но есть еще – кто умеет. А я все ждала чего-то, все ждала. Нет у меня ни жениха, ни знакомого даже. А я все ждала. Я тебя ждала, Арся.

– Так чего ж ты тогда?

– Я не знаю, Арся.

– Вот все у тебя так: я не знаю, я не знаю... Ангелица! Вот твоя хата! До побаченья!

Фиса осталась у калитки, виноватая, одинокая, помедлила и, на что-то решившись, позвала его обреченным, сдавленным голосом. Он закурил на дороге, сердито брызгая искрами от зажигалки. Ему стоило только подбежать к ней, и, наверное, и ее судьба и его повернулась бы совсем по-другому. Но он был самолюбивым парнем и считал себя в чем-то оскорбленным. И, кроме того, у него было неоконченное высшее образование, и он надеялся все-таки окончить его. А вдруг будет ребенок, что тогда? Нет уж, лучше перекурить это дело, превозмочь себя. Мужчина он или нет?

Поздно ночью он вернулся к ее хате, постоял у калитки, потом зашел в садик и, опершись спиной о белый ствол яблони, глядел в низкое, темное окно. Кажется, он высказал этому окну все глупости, какие скопились в душе, и почувствовал облегчение и прилив неслыханной нежности к себе, к Фисе, ко всему на свете. Блаженно-усталый, расслабленный от неведомой до сих пор нежности, он вернулся в свою квартиру под утро. Осторожно снял сапоги и вытянулся на кровати рядом с госпитальным другом, безмятежно и удовлетворенно храпевшим на всю хату. Тот на минуту поднял голову и сипло спросил:

– Ну как, порядок?

– Порядок, порядок, спи.

Арсений проспал на работу, и за это ему отвалили наряд вне очереди. Он уже домывал пол в помещении сортировки, когда явилась Фиса и стала отбирать у него тряпку:

– Чего ж ты не сказал! Я бы вымыла. Ой, Арся, у тебя спина в известке. Где это ты? Дай отряхну!

– Иди ты! – гаркнул Арсений. – Путаешься тут, лезешь!

Растерянный, мокрый, с грязной тряпкой в руках, он шел на Фису, будто собирался ляпнуть этой тряпкой в лицо. Таким Фиса его еще никогда не видела.

– Я ж помочь хотела.

– Помо-очь! Помогла уж. Уваливай!..

И она ушла, вся как-то разом завянув. Ее и в самом деле легко было обидеть.

Вечером он отыскал ее, хотел попросить прощения, даже слова какие-то заготовил, но Фиса сделала вид, будто ничего и не произошло, и он с облегчением забыл эти слова и вел себя подчеркнуто весело, шутил, смеялся, Фиса тоже смеялась, но глаза у нее были грустные-грустные, и она поспешила в этот вечер рано уйти домой.

Есть такие люди, которые умеют прятать свою грусть, переживают ее в одиночку и оттого кажутся на людях всегда веселыми и беззаботными.

И на завтра она уже была прежней Фисой, безмятежной Фисой – и все-таки что-то уже произошло. Она сделалась чуть сдержанней с Арсением, и это «чуть», не высказанное словами, оказалось той границей, через которую Арсений уже не мог переступить.

Он провожал ее до дому, целовал. Но она не давала ему очень увлечься этим приятным занятием, убегала от него.

Арсений не задерживал Фису и даже чуть упивался собственным благородством. Вот, мол, и мог бы, а не стану, потому что есть у меня сила воли, потому что мужчина я, а не бочонок с квашеной капустой. И характер я выдержу. И вообще, может, все это к лучшему. Жизнь моя впереди. Встретятся еще и девушки, и женщины, и не одна. Пристал к первой попавшейся. Пройдет это, пройдет. Вот уедет она, и все пройдет.

Настал день отъезда.

Машины стояли возле штаба. Сброшены в них нехитрые пожитки военных девушек, и солдаты, уже не таясь, в открытую прогуливались подле машин со своими «симпатиями», часто заворачивали за угол штаба и, несмотря на близость начальства, целовались там напропалую, целовались до того, что вспухали губы.

Арсений держал Фису за руку и за штаб не уводил. Она перекатывала сапогом обломок кирпича и как никогда пристально всматривалась в лицо Арсения. Он прятал глаза, балагурил, обещал писать ей по два раза в день.

Она молчала.

От этого молчания Арсению сделалось не по себе, и он поспешно сорвал пилотку с головы, покидал в нее яблоки, которыми были набиты его карманы, и, когда она приняла пилотку, рассмеялся:

– Бери да помни!

– Спасибо, – тихо отозвалась Анфиса. – У меня память хоть и девичья, короткая, как говорится, но буду помнить. – Лицо ее немного побледнело, рука была вялая и холодная, маленькие и реденькие конопатинки на носу обозначились резче, и в глубоких дитячьих глазах было недоумение. Она, кажется, не совсем верила, что вот скоро, сейчас, возьмет и уедет, и потому, должно быть, ни с того ни с сего начинала улыбаться шутливым словам Арсения, и тогда скуластенькое лицо ее озарялось сполохом румянца, который тут же пугливо гас.

Она была так мила сейчас, так застенчива, что вся красота, подаренная ей природой, до капельки объявилась и ничего не осталось про запас. Такая красота может держаться, если беречь ее. Очень уж хрупкая, очень уж внешняя она: дунь холодный ветер – и ничего не останется, все облетит, осыплется, завянет.

Арсений примолк, стал отогревать ее руки своими ладонями, и она вдруг попросила:

– Арся, не забывай меня! – и отвернулась. – Не забывай, ну? – И опять принялась катать сапогом кирпичик. – Я знаю, со мной трудно. Ненормальная какая-то. И если бы я... Мы были бы вместе... – И, подняв голову, взглянула на него с тревогой: – Разве я виновата, Арся?

– Нет, Фиса, ты ни в чем не виновата. Ты хорошая девушка...

– Давай не будем об этом!

Кругом суетились люди, что-то говорили друг другу на прощание, шоферы занимали места в кабинах, заигрывая напоследок с девушками.

– Скоро уж машины пойдут, – проговорила Фиса.

– Кажется, скоро.

– Арся, ты все еще сердишься на меня?

– Я? Откуда ты взяла? Это ты дуешься чего-то.

Но она не обратила внимания на его последние слова:

– Я вижу. Я все вижу. Я знаю, ты не напишешь мне ни одного письма. Да и зачем? Ну встретились. Ну расстались. Говорят, вся жизнь состоит из этого.

– Да, говорят. Знаешь что, давай не будем выяснять отношений сейчас. Не время. Простимся как люди, без фокусов.

– Ладно, Арся, ты иди. Не надо, чтобы ты ждал, когда машины пойдут. Мне нехорошо как-то. Я, наверно, заплачу. А я не хочу, чтобы ты видел, как я заплачу. Мне чего-то жаль, очень жаль...

Они поцеловались. Арся помог забраться Фисе в кузов, чуть задержал ее руку в своей, хотел еще что-то сказать, но махнул рукой: всего, мол, хорошего! – и пошел от машины. Но тут Фиса окликнула его и протянула разрисованный цветными карандашами конвертик:

– Вот... На память...

Он протянул было руку, но Фиса по-мышинному юркнула в кузов, сунула конверт за ворот гимнастерки.

– Нет, Арся, это я так. Я пошутила. Иди уж. – Голос у нее дрогнул. – Все равно уж...

Семнадцать лет спустя Арсений Каурин, преподаватель педагогического института, плыл с группой туристов вниз по Каме на шлюпках до Куйбышевской ГЭС. Настроение было прекрасное оттого, что погода стояла солнечная, и весь отпуск впереди, и ни о чем не надо было заботиться, и хоть на время можно скрыться с глаз ревнивой жены, со скрипом отпустившей его в поход.

В старинном районном селе, где, кажется, церковей было больше, чем домов, туристы остановились и рассыпались кто куда в поисках достопримечательностей, съестного и курева. Арсению было поручено купить соленых огурцов. Загорелый, в войлочной с бахромой шляпе, в рубаше-распашонке, с наляпанными на ней лунами и яблоками, он шлялся по рынку, весело приценивался к товару, шутил с торговками, разморенными духотой и бездельем.

Покупателей на рынке мало, лишь суетились пассажиры с только что причалившего парохода и возле пивного ларька на бочках уютно расположились и потягивали из стеклянных банок бледное пиво колхозные шоферы. Возле них митинговал безногий инвалид:

– Гитлера распатронили? Распатронили! И Чомбе распатроним! Чомбе – тьфу! Мизгирь!..

Тетка с накрашенными губами торговала щавелем, прошлогодним хреном и кудрявистыми таежными ландышами. Ландыши у нее пассажиры раскупали нарасхват, а хрен никто не брал. Тетка обратилась по этому поводу к Арсению:

– Чудной народ! Цветочки берут, а хреном пренебрегают. А хрен – это ж такая закуска, это ж... – Она, как гранату, подняла длинную скобленную хреновину и с пьяненьким вздохом кинула обратно: – Э-эх, сады-садоочки, цветы-цветочки, над страной проносится военный ураган! – И тут же с песни переключилась на инвалида: – Митька! Я те дам Чомбу! Крой до дому и организуй цветки! Чтоб одна нога здесь, другая – там! Чего ты около шоферни отираешься? Я сама в состоянии тебе опохмелить!

Арсений улыбнулся и пошел дальше, обмахиваясь мягкой шляпой. Пот лил с него, катился за распахнутый воротник рубашки.

Духота все густела и густела.

Но тучи были еще где-то далеко, и дождь никак не начинался. По рынку бродили пыльные куры с беспомощно открытыми клювами, привычно шуровали лапами шелуху от семечек. У ног торговок, под прилавком, беспечно лежала облепленная репьями коза, полураскрытым глазом наблюдая жизнь.

На Каме сердито взревел пароход, пассажиры заторопились. Арсению на рынке тоже надоело. Он направился к овощному ряду, остановился подле колхозной машины. Парень

с папироской в зубах прямо из бочки зачерпывал склизкие, перекислые огурцы тарелкою от весов.

Арсений почувствовал на спине своей пристальный взгляд. Он подумал, что опять глаза на модную рубашу, но взгляд проникал, кажется, дальше, внутрь, тревожил его. Он настороженно осмотрелся и встретился глазами с женщиной, спустившей от жары полушалок на плечи. По правую руку от нее лежали редьки величиной со двадцатимиллиметровые снаряды, поточенные на острие червяками, грудка моркови с кудряшками бледной зелени и стоял ведерный туес с солеными огурцами, из которого свесились стебли укропа.

– Может быть, попробуете моих огурчиков? – тихо, не спуская глаз с Арсения, поинтересовалась женщина. И его что-то совсем уж встревожило и обеспокоило. В глазах женщины, чуть сощуренных, была не то усмешка, не то испуг, в уголках губ задумчивые, горестные складки. Руки женщины в земляных трещинках и под ногтями земля. Руки были мыты, хорошо мыты, но это была та земля, что впитывается в кожу надолго, иногда навечно, – пашенная земля.

– Что ж, можно и ваших, – отозвался Арсений с наигранной веселостью. Так уж почему-то принято разговаривать с торговками.

Женщина усмехнулась, подала ему на кончике ножа коренастый, на диво сохранившийся огурчик и что-то при этом сказала одними губами, какие-то незнакомые слова. Но Арсений не обратил особого внимания на слова, он с хрустом откусил огурца и зажмурился:

– Класс!

– Сколько вам?

– Немного. Вот, – все так же беспечно сунул он модную шляпу. – Сколько сюда войдет, столько и сыпьте.

– Ну, зачем же такую вещь портить? Это ж не яблоки, выпачкают. Для вас готова и газету схлопотать, – напевно, с каким-то скрытым смыслом говорила она, не переставая загадочно улыбаться. Она вылавливала огурцы из туеса. Усмешка, так тревожившая Арсения, разом как-то сваяла на губах женщины, и она, уронив деревянный черпак, подалась к нему. – Арся, ты неужели меня не узнаешь?

Арсений оторопел:

– Вас? Простите... Э-э, нет, простите...

– Да я ж Анфиса.

– Какая Анфиса?

– Ну, Фиса.

– Фи-иса!

Теперь уже он пробежал по лицу ее торопливым и цепляющимся взглядом, словно пролистал книгу, и только по глазам, в которых далеко-далеко еще таилось полудетское простодушие, по голубым глазам, как бы уже тронутым ранним инеем, узнал ее.

– Ангелица?!

– Не забыл! – радостно и в то же время горько улыбнулась она. – Она самая.

И тут наступила та самая минута, которая всегда наступает в такие моменты. Надо бы говорить, а говорить-то и не о чем. И вот появились, как обычно, самые неподходящие, самые ненужные слова, и он, потоптавшись, сказал эти слова:

– Ну, как живете-можете?

– А что, Арся, разве по мне не видно? – снова усмехнулась женщина и, помогая ему справиться со смущением, поинтересовалась, глядя на яркую рубашку-распашонку: – Сам-то как? Хотя тоже видно. Здоров, бодр. Отдыхать едешь? Поседел вон только. – Она чуть было не протянула руку, чтобы дотронуться до его волос, но вовремя опомнилась и спрятала руки в рукава телогрейки, будто ей разом сделалось холодно. – Умственная, видать, у тебя работа?

– Да, трудная работа. Преподаю. В институте преподаю. Студенты, они, знаете... – И, стыдясь чего-то, добавил: – Седеть начал рано. Всякое было. Учился после армии, на одной стипендии тянул, трудно было... – И, чувствуя, что разоткровенничался, закончил: – Сами знаете, жизнь нашего брата не баловала.

– Да, не баловала, – подтвердила Анфиса и тут же словно бы встрепенулась. – Ну, все равно в люди выбился. Я знала, ты не пропадешь. А я вот, – у нее опять появилась усмешка, только на этот раз усталая, вымученная, – право, ангелица, сразу и в путы. – Анфиса обернулась, тряхнула за рукав стоявшую за другим прилавком торговку: – Тетка Александра, посмотри за моим товаром, – и предложила Арсению: – Пойдем, Арся, отсюда, провожу тебя маленько. Ты ж провожал меня когда-то... Извини, что я с тобой на «ты» – по старой памяти.

– Ну, что ты, что ты, пожалуйста.

Вышли с рынка. Тетка с накрашенными губами, облокотившись на прилавок, жевала лист щавеля и что-то пробормотала, подмигнув им вслед. Торговки за прилавком громко захохотали.

Далеко-далеко буркнул коротко гром, и сделалось совсем тихо.

– Вот где довелось встретиться, – прервала молчание Анфиса и, глядя на подернутую маревом реку, призналась: – Поначалу я тебя все ждала, все встретиться надеялась. Сюда, на пристань, часто бегала. После во сне только видела, а потом уж и сны стали другими, все стало другое... – Арсений не мог найти слов, чтобы поддержать разговор, и Анфиса задумчиво прибавила: – Время, время. Вот ты уж и седой, а все такой же на слово скупой.

– Да нет, почему же, я тебя слушаю.

– Меня? Что ж меня слушать? Ничего интересного. Как за русской печкой: пыль да лучина, темь да кручина. – И она опять, в который уже раз, искоса поглядела на его рубаху с намалеванными на ней желтыми лунами и красными яблоками по голубому фону. И он вдруг вспомнил луну над садами, тронутое росой яблоко, вынутое Фисой из темноты. Ему сделалось неловко и жаль чего-то. Он подсадовал на себя, на жену. Это она купила рубаху с невзаправдашними лунами и яблоками. Модно! Она и себе и ему покупает все только модное. Все еще молодится. Он знает – молодится для него. И как-то услышал, она призналась подруге, которая позавидовала ей: «Ах, милая, мне все трудней и трудней становится быть молодой!»

«Но зачем все это вспоминать сейчас? И к чему? Теперь уже ничего не изменить. Да и молчание становится неловким. Надо разговаривать, разговаривать, и отстанут эти воспоминания. Неловкость пройдет. Подумаешь – рубаха! Разве в рубахе дело? Она вон в телогрейке, и руки можно бы тщательно помыть, и не обманул же я ее, в конце концов. Ничего такого не было. Ну, обещал писать и не написал, так это ж пустяк, да и как давно это было! Очень давно».

– Ты замужем? – спросил у Фисы Арсений.

– Давно. Полгода после демобилизации подевичилась, и дядя сосватал меня. У меня ведь никого нет, кроме дяди. А сам он ребятами оброс. Куда-то надо было голову приклонить. В возрасте уж девка. Молоко брызжет. Семью надо, детей надо. Бабе бабье мнится. А ты женат?

– Женат. С ребенком взял женщину. Трудно было. Но она ничего... добрая женщина. Тоже в институте работала. Там и сошлись. Дочь нынче в консерваторию поступила.

– А родное дитя есть?

– Есть. Как же.

– Сын, да?

– Сын.

– Как зовут?

– Валерием.

– Валерием? Славно. А моего – Пашкой. А дочь – Нина. Тоже двое у меня.

Снова стало не о чем говорить. Над городом томила все та же душная тишина, и от каменных плит тротуара, меж которых росли трава и тощие цветки шалфея да пуговки угарной мяты, несло, как от раскаленных печек. Арсению жгло подошвы сквозь кеды, и он обрадовался, когда они сошли на прибрежный песок с засохшими на нем коровьими лепешками.

Река кипела у берегов. Купались ребяташки. А вдаль, в густой медовой пелене, бурлил винтом пароход. Он словно бы стоял на месте и растворялся в колеблющемся мареве, делаясь все меньше и призрачней. Перед дождем свирепствовал овод. Детсадовские ребяташки были в волдырях и до шейки закапывались в песок. Воспитательница сидела на обносе изуродованного катера, до палубы вросшего в песок, обмахивалась веткой полыни, безотрывно читая толстую книгу, должно быть, роман про любовь, и время от времени нудно твердила:

– Дети, не забредайте глубоко. Дети, утонете.

– Хорошо это – дети, – как бы найдя повод для продолжения разговора, с облегчением сказал Арсений. – Для них живем. Нам время тлеть, а им – цвести.

– Да-а, им цвести, нам тлеть. Верно. Пушкин, кажется, сочинил? Мудрый был человек! А муж-то у меня, Арся, пьяница. Бьет меня и детей бьет, – глухо проговорила Анфиса и отвернулась. И он опять не знал, что делать: утешать ли ее или не мешать ей молчать.

Впрочем, Анфиса быстро укротила себя, сломала звон в голосе и посмотрела на него сбоку с виноватой улыбкой, с той улыбкой, которая ему запомнилась издавна.

– Ну вот, расчувствовалась. Баба и есть баба. Не обращай внимания, Арся. – И быстро, быстро, сглатывая слова: – Да ничего такого и нет. Ребята зимой учатся в школе, летом на огороде и в поле работают. Я по домашности. Муж – тракторист. Он и ничего бы, только не любила я его никогда. А он это чувствует, вот и лютует пьяный. Кулаками любовь-то добывает. – Скороговорка ее неожиданно сменилась тоскливым возгласом: – Эх, Арся, Арся! Зря я тогда сберегла себя. Зря тебя мучила. Ему ведь все равно, лишь бы баба. Ну, ладно, Арся, наговорила я тебе семь верст... Расстроила, вижу. Вон красными веслами машут. Тебя небось зовут. Прощай, Арся!

– Прощай, Фиса.

– Я в деревне Куликовой живу, недалеко отсюда. Заходи, если случится быть.

– Хорошо, хорошо, – поспешно согласился Арсений, – непременно. Мы иногда бываем в деревнях, картошку копать ездим...

Анфиса, кажется, не слушала его. Она подала ему руку, тряхнула головой:

– Нет, не надо. Пусть уж будет, как было. Пусть останутся воспоминания... – Голос у нее осекся, тень легла на тронутое морщинами лицо. – У меня ведь это лучшее, что было в жизни, Арся. Никому дотронуться не даю. В себе таю. Прощай!

Арсений давнул ее руку и, как тогда, у машины, кивнул: всего, мол, хорошего, – но внезапно вспомнил:

– Послушай, какой ты конверт хотела мне отдать тогда и не отдала?

Анфиса наморщила все еще красивые, сломанные у висков брови и вдруг просветленно улыбнулась:

– А-а, вон чего ты вспомнил?! Клочок волос упаковала. В книжках про это вычитала, и вот... Тогда я еще читала книжки. – Она застенчиво потупилась, махнула рукой, словно бы не прощая себе такого чудачества, и пробормотала: – Слепота я, слепота... – быстро пошла от него, черпая стоптанными сандалиями песок.

Арсений постоял минуту, пытаясь вникнуть в смысл этих вполголоса оброненных слов, и оттого, что не мог понять скрытого в них смысла или не хотел понять, раздраженно пожал плечами:

– Вот так встреча! Бывают же чудеса в жизни!..

Он попытался настроиться на шутливый лад и даже помурлыкал на ходу: «А я сам! А я сам! Я не верю чудесам!» – но тут на него разом навалились стыд, растерянность, зло, и он почувствовал такую усталость, что едва добрался до своей шлюпки и обессиленно опустился на ее борт.

– Где ты шлялся? – напустились на него попутчики.

Он смотрел на них, но слова не доходили до него.

– Почему не принес огурцы?

– Какие огурцы? Ах да, огурцы. Забыл. Оказывается, забыл... – беспомощно развел руками Арсений. Заметил шляпу, нахлобучил ее до бровей и не знал, что делать дальше.

– Вот тебе и раз! А мы водки взяли.

Арсений встрепнулся, услышав об этом, отыскал глазами бутылку, по-солдатски ударил ее о колено. Пробка хлюпнула, взлетела и поплыла по воде. Он налил себе полный стакан и выпил одним духом под веселые возгласы попутчиков – товарищей по институту, которые знали, что пьет он редко и тайком от супруги – побаивается. Но когда он налил себе второй стакан, они зароптали:

– Что ты! Не дури! Захмелеешь ведь с непривычки. А нам плыть, и гроза надвигается.

Но Арсений выпил и второй стакан, чтобы оглушить себя, забыться. Однако хмель не брал его, и забыться никак не удавалось.

И дождь все не шел и не шел, задержался где-то за горами. Хоть бы скорее грянул дождь, крупный, холодный, с громами и молниями, и смыл бы всю эту застоявшуюся, густую духоту.

1961

Руки жены

Он шагал впереди меня по кособогу, и ослизлые камни по макушку вдавливались в мох под его сапогами. По всему кособогу сочились ключи и ключики, загородившись от солнца шипучей осокой, звонко ломающимися купырями, ветками смородины. Над всей этой мелочью смыкались вершинами, таили чуть слышные, почти цыплячьи голоски ключей черемухи, ивы и ольшаники. В них перепархивали птицы, с мгновенным шорохом уходили в корни мыши, прятались совы, вытаращив незрячие в дневном свете глаза. Здесь птицы и зверьки жили, плодились, добывали еду, пили из ключей, охотились друг за другом и потому жили постоянно настороже. Петь улетали в другое место, выше, на гору, откуда птицам раньше было видно всходявшее и позже закатывающееся солнце. И когда они пели, на них никто не нападал.

Я видел только спину Степана Творогова. Он то исчезал в кустах, то появлялся на чистине. На спине его под вылинялой рубахой напряженно глыбились лопатки, не в меру развитые. Шел Степан, чуть подавшись вперед, и правое плечо его тоже было выдвинуто чуть вперед. Он весь был напружинен, собран, ноги ставил твердо, сразу на всю ступню. Рук у него не было, и он должен был крепко держаться на ногах.

Иногда он все же падал, но падал обязательно на локти или на бок, на это, чуть выдвинутое вперед плечо. Падал легко, без шума и грохота, быстро вскакивал и шел дальше.

Я с трудом поспевал за ним, хватаясь за кусты, за осоку и за все, что попадалось на пути. Об осоку, по-змеиному шипящую под ногами, я порезал руки и про себя ругался, думал, что Степан нарочно выбрал этот проклятый кособог, чтобы доказать мне, как он прытко ходит по тайге.

Один раз он обернулся, спросил участливо:

– Уморились? – И, не дожидаясь ответа, предложил: – Тогда давайте посидим.

Я сел возле ключика, который выклевал себе щелку в кособоге и кружился в маленькой луночке под мохом, а потом ящеркой убегал в густую траву. В ней он отыскивал другой ключик, радостно проворковав, бросался к нему с крутобокого камня. В луночке, где рождался ключик, был крупный, добела промытый песок. И чуть шевелился и вместе с песком плавал то вниз головой, то вверх брюшком муравей. Должно быть, луночка казалась ему огромным морем, и он уже смирился с участью и только изредка пошевеливал лапкой, стараясь уцепиться за что-нибудь.

– Охмелел, – улыбнулся Степан. Он взял култышками сучок, сунул его в луночку. Муравей уцепился за сучок, трудно выполз на него, посидел, посидел и рванул в траву, видно, вспомнил про жену и семейство. Степан выкинул сучок и упрятал обрубки рук в колени. Я уже заметил, что, когда он сидит, обязательно прячет култышки с подшитыми рукавами. Лицо его было задумчиво. Морщин на лице немного, но все они какие-то основательные, будто селились они не по прихоти природы и были не просто морщины, а вехи, отмечающие разные, не пустячные события в жизни этого человека. Белесые ресницы, какие часто встречаются у людей северного Урала, были смежены, но сквозь них меня прощупывал внимательный, строгий взгляд.

Я напился из ключа и курил. Степан вроде бы дремал, а может, давал мне возможность отдохнуть на природе. Рядом лежало его ружье, на груди, возле самого подбородка висел патронташ. Патроны он доставал зубами и зубами же вкладывал их в стволы ружья. Курок спускал железным крючком, привязанным ремнями к правой култышке. Он целый год придумывал это приспособление и однажды увидел на двери собственной избы обыкновенный дверной крючок из проволоки. Сено Степан косил, засовывая култышку в железную трубку, приделанную к литовищу вместо ручки, другую культию он просовывал в сыро-

мятную петлю. Это он изобретал около двух лет. Топорище приспособил быстрее – всего за полгода. Длинное топориче, с упором в плечо и с петлей возле обуха. В петлю он вставлял култышку и рубил, тесал, плотничал. Сам избу срубил, сам сено поставил, сам пушнину добывает, сам лыжи сынишке смастерил, сам и флюгер-самолет на крышу дома сладил, чтобы как у соседского парнишки все было. Как-то на Новый год один заезжий железнодорожник полез двумя лапами к его жене – Наде, Степан отлупил его. Сам отлупил. Железнодорожника еле отобрали, и теперь он в гости к Феклину, свояку, больше не приезжает.

Руки Степану оторвало на шахте взрывчаткой. Было ему тогда девятнадцать лет. Нынче нет шахты в поселке – выработались пласты, заглох и опустел поселок. Осталось всего несколько жилых домов: лесника, работников подсобного хозяйства и охотника Степана Творогова – бывшего шахтера.

Обо всем этом я уже расспросил Степана, и все-таки оставалось еще что-то, оставалось такое, без чего я не мог писать в газету, хотя имел строгий наказ привезти очерк о безруком герое, лучшем охотнике Райзаготпушнины.

– Поздно вы приехали, – с добрым сочувствием проговорила Надежда. – Вёснись надо было. Степа тогда пушнины на три годовые нормы сдал. А сейчас никакого процента мы не даем. Я при доме, Степа тоже до зимнего сезона своими делами занимается.

– У человека наказ, – строго сказал Степан, – есть ли, нет у нас процент – это начальства мало касается. Отдай работу, и все. Обскажите, что и как. Может, он сообразит. – И, помедлив, тоже посочувствовал: – И попало же вам заданье! Ну что о нас писать? Мама, ты покажи фотокарточки всей родни нашей, может, там чего подходящее сыщется...

Я знаю теперь всю родословную Твороговых. Знаю и о том, как тяжело и долго переживала мать грянувшее горе. Степан у нее был единственным сыном, а «сам» без вести пропал в «нонешнюю» войну. И все-таки, все-таки...

– Вы на охоту набивались, чтобы посмотреть, как это я без рук стреляю? – прервал мои размышления Степан.

– Да. Собственно, нет, – смешался я, – просто хотелось пройтись по уральской тайге, посмотреть.

– Посмотреть? – сощурился Степан. Он наклонил голову, откуда-то из-за ворота вынул губами рябчиный манок, привязанный за ниточку, и запищал. В кустах тотчас ему задорно откликнулся петушок и, хлопнув крыльями, поднялся с земли. Глаза Степана оживились, и он подмигнул мне: – Сейчас прилетит! Тут их пропасть, рябков-то...

Степан еще пропищал, и рябчик, сорвавшись с ели, подлетел к нам, сел на гибкую иву, закачался, оглядываясь с задиристым видом, дескать, которые тут подраться звали.

Степан сшиб его с куста, неторопливо продул ствол ружья, вложил новый патрон, подобрал птицу и, ничего не сказав, пошел дальше.

Когда мы поднялись на гору, он остановился и тихо молвил:

– Вот, смотрите, раз хотели...

Я смотрел. Передо мной, на сколько хватало взгляда, были горы и леса, дремные горы, тихие леса осени. Паутина просек, дорог и высоковольтных трасс изморщинила лицо тайги с нездоровым и оттого ярким румянцем. Горечь надвигающегося увядания угадывалась во всем. Речки кружились, затягивали в желтые петли горы с суземным лесом, и казалось, что в расщелинах, логах и распадках, обнажились нервы земли. Все кругом было величаво, спокойно. Предчувствие долгого сна таилось в лесах, и шорох облетающих листьев уже начал усыплять их, нашептывая об осенних дождях, о глубоких снегах и о весне, которую надо долго и терпеливо ждать, потому что все живое на земле и леса тоже живут вечным ожиданием весны и радости. Очарованные печальной музыкой осени, обнажались леса, роняя листья в светлые ручьи, застилали зеркала их, чтобы не видеть там отражения своей неприютной наготы.

Земля надевала шубу из листьев, готовилась к зиме, утихали звуки на ней, и только шорох был всюду от листа, и шум от речек, заполневших от больших рос, инеев и часто перепадающих, но пока незатяжных дождей.

Но гора, на которой мы стояли, жила вроде бы отдельно от всего леса. Она была обрублена лет десять назад, и пней на горе было много, гнилых, с заплесневелыми срезами и сопревшими опятами по бокам. Вокруг пней густо взошел липняк, рябинник, березки. Они уже заглушили всходы малинника и кипрея, заняли полянки покосов, соединились меж собой и как-то играючи, без грусти сорили вокруг листьями, желтыми, бордовыми, рыжими, тонкие рябинки были с первым урожаем, первыми двумя-тремя пригоршнями ягод и показывали их всем хвастливо, доверчиво. На рябинник этот валились дрозды и кричали громко, деловито, склевывая крупные ягоды, и перепархивали клубящимися стаями с дерева на деревце, и оставались после них рябинки без ягод. Вид у них был растерзанный. Тогда в них начинали тонко, успокаивающе наговаривать синицы, затем, мол, и родились вы, рябинки, чтоб кормить птиц ягодами.

– Так что же вы решили?

Я пожал плечами, проводил взглядом запыленно взметнувшуюся стаю дроздов.

– Не знаю. – И тут же признался: – Мне будет трудно писать о вас. Наверно, ничего не выйдет.

– Конечно, не выйдет, – уверил меня Степан, тоже провожая глазами птиц. – Что обо мне писать-то? Что я – калека и не пошел кусошничать, а сам себе хлеб зарабатываю? Так это мамкина натура – мы никогда чужеспинниками не были, всегда своим трудом кормились. – Он немного помолчал, повернулся ко мне, посмотрел на меня пристально и, ровно бы в чем-то убедившись, спросил мягко: – Вы не обидитесь, если я вас маленько покритикую? Как говорится, критика – направляющий руль, да?

– Где уж мне обижаться? И называй меня, пожалуйста, на «ты».

– Ты так ты, это даже удобней. Так вот. Четвертый день ты у нас живешь и все потихоньку выведываешь – что к чему. И все возле меня да возле меня. А что я? – Он посмотрел на себя, на сапоги, на патронташ, на ружье и только на култышки не посмотрел. – Надо было, дорогой человек, к Надежде присмотреться. Руки ее – вот что, брат, главное. И всего их две у нее, как и у всякого прочего человека. Но зато уж руки! Да что там толковать! Говорю – главное. – Он доверительно придвинулся ко мне. – А как ты об них напишешь? Ну, как? Если же не напишешь о главном, значит, нечего и бумагу портить. Так? Я вот про себя скажу. Вот я ее люблю. Другой раз думаю: выпью и скажу ей про это. И все равно ничего не выходит. Вот кабы ты сумел так написать, как я в уме своем иной раз говорю про нее. Или как вот в песнях поют. А так едва ли получится. – Он на минуту задумался, лицо его сделалось добрым и простоватым. – Да-а, хитрое это дело – высказать все, что на сердце. Нету слов-то подходящих, все какие-то узенькие, линиялые. Ну да шут с ними, иной раз и без слов все понятно. Знаешь что? – Он поглядел на меня, ровно бы взвесил глазами. – Ладно, пойдем. Покажу я тебе кое-что, и не ради чего там, а как мужик мужику...

К поселку шла высоковольтная линия. Ногастые, костлявые опоры растолкали на стороны лес и кусты. Под опорами окопано. Меж опорами грузно севшие стога сена. На их прогнутые спины намело листья с деревьев. Лежат они, догорают. А стога затягивает темнотою, и оттого вид у них среди зеленой отавы угрюмый, одинокий.

В одном месте широкую просеку с линией наискось пересекал ручейшко, прячущийся в торфянистых кочках и под изопревшей сланью. Ручейшко безголосый, робкий, а все же с живою водой. И оттого тесно жалась к нему мелочь. А одна кособокая черемуха выползла из урманной темени вслед за ручьем на трассу. Контролер участка отчего-то не срубил черемуху, думал, видимо, покорыститься с нее в урожайный черемушный год или по каким другим причинам.

Степан остановился подле черемухи, сделавшей несмелый шаг из тайги, оглядел ее с комля до вершины, но не так, как меня оглядывал. Мягким взглядом он ровно бы огладил всю черемуху и приветливо улыбнулся ей. Я еще никогда не видел, чтоб улыбались дереву, тем более черемухе, и тоже с интересом взглянул на нее. Черемуха как черемуха, одна из тех, о которой поют, стихи сочиняют и ломают ее иной раз до смерти.

Птичьими глазками глядели с ее ветвей блестящие от сока ягоды на побуревших кистях. Листву уже тронула коричневая рябь, и один ее бок, что был к солнцу, подпалило. Под черемухой доживала лето тощая трава и прела с листвою вместе, распространяя грибной запах.

– Сломи-ка, – попросил Степан, глянув на черемуху. Я с охотой взялся за дело, наломал много веток с тяжелыми кистями и бросил их на колени Степану. Он подносил ко рту ветки, срывал губами маркие ягоды и благодушно ворковал:

– Сладка, холера! Рябина да черемуха – уральский виноград! – Он тут же отбросил ветку в сторону и брезгливо сморщился: – Фу, погань!

На полуобсохшей ветке сереньким комком соткана паутина, и в ней копошились, жили в липком уюте зеленые червяки. Так вот они и обитают в этой паутине, начисто сжирая листву и молодые побеги черемухи, а когда подрастут, народят такое же зеленое, гнусное потомство, которое целиком дерево не губит, но расти и плодоносить ему мешает.

Степан больше не трогал черемуху, а смотрел поверх леса, на голубоватое, но уже тоскующее о дождях и снеге небо, и о чем-то неторопливо думал. Потом повернулся в мою сторону:

– Ты чего притих-то?

– Ягоды вот ем.

– А-а, ягоды на этой черемухе добрые и мне памятные.

И он стал рассказывать о том, как в конце солнечного августа, на закате лета шли они с Надеждой из больницы вдоль этой линии высоковольтной.

Они не были женаты. И познакомились не так давно, в однодневном доме отдыха, куда за добрые дела время от времени посылали рабочих отоспаться, поесть вкусной пищи и развлечься. Надежда работала тогда уборщицей в конторе шахты и мыла разнарядку, с черными от угля стенами, с черным от угля и шахтерских сапог полом. А до возраста, пока не получила паспорт, жила лет шесть в няньках.

Раза три или четыре они ходили вместе в клуб, смотрели кинокартины. Раза три или четыре Степан провожал Надежду домой. В Троицу они были на лугах, праздновали лето по старинному русскому обычаю, с самоваром. В этом поселке, как и во многих других уральских поселках, охотно отмечались праздники новые и старые, и пили на них одинаково много. Там, на лугах, Степан первый раз поцеловал Надежду, а назавтра ему оторвало кисти обеих рук.

Беда заслонила от Степана все: и шахту, и свет, и Надежду. Все, кроме матери. Он вспомнил о ней сразу, как только пришел в себя после взрыва, и потом уже не переставал мучиться ее горем. Сгоряча ему было не больно и не страшно. Страшно сделалось потом, когда в городской больнице захотелось помочиться. Он терпел два дня, боялся заснуть, чтобы не сделать грех под себя. Мужики в палате предлагали ему свои услуги. Он отказывался. Пылая жаром от стыдливости, думал: «Вот так всю жизнь?..»

Ночью Степан встал, подкрался к окну, но палата была на первом этаже. Он застонал, прижался лицом к марле, натянутой от мух, и вдруг услышал:

– Степа, ты не мучайся. Я здесь, около тебя. Дома все в порядке. Мать не пускаю к тебе. Сердце у нее...

Он ткнулся в марлю, порвал ее, в темноте нащупал раскаленными от боли култышками Надю, притиснул к себе и заплакал. Она, еле видная в потемках, зубами рвала марлю, не

отпуская его, рвала, чтобы коснуться губами лица его, чтобы он чувствовал – живой человек, вот он, рядом.

– Худого в уме не держи, – настойчиво шептала она ему в ухо. – Ладно все будет. Не держи худого-то...

И он от этого плакал еще сильнее и даже пожаловался:

– Руки-то жжет, жжет...

И Надя стала дуть на забинтованные култышки, как дуют детишкам на «ваву», и гладить их, приговаривая:

– Сонный порошок попроси. Как-то он мудрено называется, не помню. Во сне скорее заживет. Попроси уж, не гордись. И худого не думай... – А сама дула и дула ему на култышки.

И то ли от Надиных слов, то ли от выплаканных слез пришло облегчение, и он уснул на подоконнике, прижавшись щекой к крашеной оконной подушке.

Утром он сам попросил мужика, что был попроще с виду, помочь ему справиться нужду.

Надя каждую ночь приходила под его окно – днем она не могла отлучаться с работы.

Он отговаривал ее:

– Ты хоть не так часто. Все же восемнадцать верст туда да обратно...

– Да ничего, ничего, Степа. Я привычная по ночам не спать. Всю жизнь детишек байкала, чужих.

В день выписки она пришла за Степаном, первый раз появилась в палате и стала деловито связывать в узелок его пожитки. Степан безучастно сидел на кровати, спрятав в колени култышки, и молчком глядел на нее. И все мужики в палате тоже глядели на нее. Надежда смущалась от такого внимания, спешила. А когда собрала все, улыбнулась больным и скованно раскланялась:

– Поправляйтесь скорее. До свиданья, – и еще раз поклонилась. Больные недружным хором попрощались с ней и сказали несколько ободряющих слов Степану, от которых он еще больше попасмурнел и спешно вышел из палаты.

Половину пути они прошли молча. Лишь один раз Надежда, заглядывая сбоку, робко спросила:

– Может, попить хочешь?

Он угрюмо помотал головой:

– Нет.

По печальному тихому небу беззвучно летел реактивный самолет с комарика величиной, растягивая за собой редющую паутину, а потом из этой паутины завязал восьмерку над их головой и взвился искоркой к солнцу.

– Ишь ведь мчится! – заговорила Надежда. – Как только перепонки в ушах у этих летчиков не лопаются.

Степан пожал плечами – при чем тут перепонки? Лето вон к концу идет, скоро картошку копать надо, дрова запасать, сено с поля привезти, а чем, как?

Совсем нехоти вспомнился Костя-истребитель. Этого Костю не раз видел Степан в городе. Сидел Костя посреди тротуара в кожаной седухе, коротенький, бойкий, с модными бакенбардами, и не просил, а требовал, заученно рассказывая о своей беде: «Три «мессера» на одного «лавочкина»... и вот приземлился, с-суки! Кинь рублевку на опохмелку, если совесть есть...»

Совести у наших людей доволна, последнее отдадут, разжалобить их дважды два, особенно култышками, особенно безрукому. И потом что же? Вывалиться вроде Кости-истребителя из пивнушки, гаркнуть: «Л-любимый город может спать спокойно-о-о!...» И самому лечь спать тут же, у пивнушки?

«Тьфу ты! Навязался еще этот истребитель!» – отмахнулся Степан от Кости и попытался думать о другом. Но и о другом ничего веселого не думалось.

Скоро вот, через час-два, придет в поселок, и высыплет все малочисленное население этого поселка встречу. Бабы начнут сморкаться в передники, сочувствовать ему, а мать будет боязливо гладить его по плечу и прятать слезы, чтобы «не растревлять» душу ему и себе.

Скупой пасечник Феклин с подсобного хозяйства принесет банку меду. Таинственно и многозначительно сунет он ее матери на кухне. С протяжным бабьим вздохом скажет: «Ох-хо-хо, судьба ты, судьба – кобыла крива, куда завтра увезет – не знаешь!» – и станет деликатно переминаясь и чего-то ждать.

Мать засуетится, спроворит закуску, вынет из сундука поллитровку. Феклин будет отнекиваться для приличия, а потом скажет: «Ну уж если по одной» – и затешется на весь вечер за стол. Выпьет первую, подставляя под рюмку ладонь, а потом вторую, третью, уже не подставляя руки, и поведет разговор на тему: «Как надо уметь жить». И станет приводить себя в пример, удивляя людей своей проницательностью, ловкостью, бережливостью.

И все будут терпеливо слушать Феклина, хотя и знают, что мужик он нехороший, любит выпить на дармовщинку, что трепло он, и скупердай, и липкий, как та банка с медом, которую он приносит всем, будь то погорелец, хворый или жених.

Совсем стало тошно Степану от таких мыслей. «Может, Надька турнет Феклина-то из избы?» Он посмотрел на Надежду сбоку. Брови у нее сомкнулись на переносье. Лицо было скуласто, строго, губы широкие, улыбочивые. Что-то доверчивое, доброе было в этих губах. Степан отвернулся, подавил вздох – не мужицкое это дело – вздыхать на весь лес. И вообще, поговорить бы с Надеждою. Как теперь быть? Что делать? «Эх, лучше бы уж одному все переживать. Зачем она на себя взвалила мою беду? Зачем?»

Под ногами зачавкал разжужжанный торф. Они подошли к ручью.

– Какая черемуха чернущая! – воскликнула Надежда и бросилась к дереву, подпрыгнула, пересилила толстую ветку, наклонила: – Держи!

Степан боднул ее взглядом: чем держать-то? Но тут же придавил ветку коленкой и совсем близко увидел быстрые руки Надежды, обрывающие кисточки, сбитый набок ситцевый платок и проколотую мочку уха, которую уже затянуло, заволокло, потому что сережек Надежда так и не сподобилась приобрести. Уборщицы зарабатывают на хлеб и на мыло, а нянькам вместо зарплаты отдают недоношенные платья и стоптанные ботинки.

Она нарвала полный подол кисточек с ягодами, села на траву и скомандовала:

– Отпускай, будем есть.

Степан отпустил ветку, и, та взъерошенная, общипанная, поднялась над их головами, качнулась и растерянно замерла.

– На! – сказала Надежда и поднесла к губам Степана кисточку.

Холодоватые ягоды обожгли его губы. Он отстранился:

– Не хочу.

– Как хочешь. А я поем. Я люблю черемуху и, пока до отвала не намолочусь, с места не подымусь.

– Дело твое.

Она ела ягоды и больше не заговаривала с ним. И по всему было видно, что ей вовсе уж и не хочется ягод и что молчанием она тяготится и чего-то настороженно ждет.

Степан неотрывно смотрел перед собой на стрекозу, которая застряла в скошенной осоке и трещала, трещала, выбиваясь из сил. Захотелось подойти – или помочь ей, или раздавить сапогом. Он отвел взгляд от изнемогающей стрекозы. Прямо перед ним, за опорами высоковольтной линии, стоял стеною лес с обрубленным подлеском по краям. К лесу этому меж торфяных кочек пробирался через запретную линию ручейшко, боясь забормотать. Прихваченные первыми инеями, к нему клонили седые головы цветы, они были квелые, грустные. И все вокруг не радовало глаз, все было на перепутье между летом и осенью.

– Так как же мы будем, Надежда? – прервал тяжелое молчание Степан.

Она, должно быть, устала ждать от него разговора, вздрогнула, но сказала спокойно:
– Как все, так и мы.

Он еще больше нахмурился:

– Это как понимать?

– Обыкновенно.

– Сказала.

Надежда покосилась на него, сердито шевельнула перехлестнувшими переносицу бровями:

– Эх, Степан ты, Степан, Степка Николаевич! И чего ты все сторожишься? Видно, чужая я тебе? А вот у меня совсем другое отношение.

– Рук у меня нету, Надя.

– Ну и что?! – быстро вскинулась она. – А это чего? Грабли, что ли? – И показала на свои, замытые водою, иссаженные занозами от половиц руки, с коротко остриженными ногтями. – Да ну тебя! – рассердилась она, вытряхнула из подола черемуху и поднялась: – Пошли уж, чего травить самим себя.

Он не поднялся, а, глядя под ноги, на брошенные кисточки черемухи, глухо произнес:

– Прости.

– Да за что прощать-то? Глупый ты, глупый. – И взъерошила его мягкие, ласковые, словно у дитенка, волосы. Он обхватил ее култышками, ткнулся лицом в живот, как тыкался когда-то в передник матери.

– Так как же нам быть-то?

Надежда прижала его к себе, поцеловала в голову, потом в щеку, потом в губы, которые с готовностью и жаром ответили ей на поцелуй.

– Степанушко!

– Надя, стыдно-то как!

– Когда любишь, ничего не стыдно, – шептала она, припадая к нему. – Ничего не стыдно. Ничего...

– Стыдно, сты-ыдно, – плакал он и скрипел зубами.

Пораженная тем, что она сделала, Надя лежала отвернувшись и молча кусала траву, чтобы задавить те задолго припасенные обвинительные слезы, которыми прощаются с девичеством и встречают неотвратимую бабью долю. На слезы эти она уже не имела права.

Степан шевельнулся и снова произнес, как из-под земли:

– Прости.

Она резко поднялась, поправила юбку, сказала: «Не смотри» – и долго возилась у ручья. Вернулась прибранная, суровая, уронила руки:

– Вот и поженились. – Помедлила секунду, тронула черемуху, потрепала ее дружески: – Черемуха венчала нас, только она и свидетель. Так что, если угодно, можно и по сторонам – черемуха не скажет...

– Да ты что, Надя! – чувствуя, что говорит в ней невыплаканная бабья обида, заторопился Степан. – Пойдем к матери, объявим, все честь-честью...

– Чего ж объявлять? – усмехнулась Надежда. – Я манатки свои давно к вам перенесла. В тот день, когда беда стряслась, я и переехала с котомкой: чем кручиниться старухе одной, лучше уж вдвоем. – Она закусила губу, потупилась: – Видишь, какая я настырная да расторопная. Окрутила мужика...

– А вот это ты зря говоришь, Надежда, – упрекнул ее Степан. – Зря, и все! – Заметив, что у нее дрогнули губы, добрые, теплые губы, он поднялся с земли, прикоснулся щекой к ее щеке. – Да если ты хочешь знать, я могу влезть на гору и кричать на весь поселок и на всю землю, какая ты есть баба и человек! И могу я воду выпить, в которой ты ноги помоешь, и всякую такую ерунду сделать...

– Ну, понес мужик! – отмахнулась Надежда и утерла ладонью глаза, рассмеялась. – Вроде бы и не пил, а речи как у пьяного. Пошли уж давай до дому.

– А и правда пошли, чего высказываться, – опамятовался Степан и крутнул головой: – Прорвет же...

– Вот так, брат, – задумчиво протянул Степан после того, как рассказал все и мы прошли километров пять молча. – Так вот две руки четырем сделали. Сын растет. Тошка. Во второй класс нынче пойдет. Все, брат, в русле, ничего не выплеснулось. Надя – матица, весь потолок держит. Без нее я так и остался бы разваренной картошкой. И завалился бы, глядишь, под стол. Смекай!..

Мы подходили к дому Степана. Вдруг он кинул мне ружье, а сам кубарем покатился с косогора, повторяя:

– Вот баба! Вот баба! Никак ее не осаврасишь, все из шлеи идет!

Внизу Надежда везла из лога на самодельной тележке сено. Степан подбежал к ней, что-то горячо заговорил. Когда я спустился ниже, до меня долетело:

– Преет сено-то.

– Мне коня в собесе дадут. Чего ты запрягаешься?

– Так я и позволила тебе в собесе пороги околачивать, – возражала Надежда. – И не шуми. Я последний промежек дотаскиваю. А коня в собесе пусть инвалиды немощные возьмут, им он нужней.

– Во, баба! Якорь ее задави! – пожаловался мне Степан и впрягся в тележку сам, решительно отстранив жену. Она воткнула вилы в копну сена и принялась толкать тележку сзади.

Все так же тихо и печально обнажались лиственные леса в распадках и над речками; все так же мохнатились суземной тайгой горы, пряча в ее пазуху последнее тепло и линияющих перед снегом зверьков; все так же стояло над миром доброе пока еще небо, но уже с набухающими облаками.

А те двое, как бы слитые воедино со всем, что было вокруг них, толкали тележку с сеном, медленно и упрямо поднимались в косогор. На склоне его стоял срубленный в лапу дом, на крыше носом в небо целился деревянный самолетик с жестяным пропеллером. Ветра не было, и пропеллер не шевелился, не звенел, но мне казалось, самолетик вот-вот поднимется выше гор и полетит далеко-далеко.

1961

Памяти великого русского певца Александра Пирогова

Ясным ли днем

И в городе падал лист. С лип – желтый, с тополей – зеленый. Липовый легкий лист разметало по улицам и тротуарам, а тополевым лежал кругами возле деревьев, серея шершавой изнанкой.

И в городе, несмотря на шум, суету, многолюдство, тоже сквозила печаль, хотя было ясно по-осеннему и пригревало.

Сергей Митрофанович шел по тротуару и слышал, как громко стучала его деревяшка в шумном, но в то же время будто и притихшем городе. Шел он медленно, старался деревяшку ставить на листья, но она все равно стучала.

Каждую осень его вызывали из лесного поселка в город, на врачебную комиссию, и с каждым годом разрасталась в его душе обида. Чем прибранней становился город, чем больше замечал он в нем хороших перемен, наряднее одетых горожан, тем больше чувствовал униженность и обиду. Дело дошло до того, что, молча терпевший с сорок четвертого года все эти никому не нужные выслушивания, выстукивания и осмотры, Сергей Митрофанович сегодня спросил у врача, холодными пальцами тискавшего тупую, внахлест зашитую култышку:

– Не отросла еще?

Врач поднял голову и с пробуждающимся недовольством глянул на него:

– Что вы сказали?

И, непривычно распаляясь от давно копившегося негодования, Сергей Митрофанович повторил громче, с вызовом:

– Нога, говорю, не отросла еще?

Врачи и медсестра, заполнявшая карточки, подняли головы, но тут же вспомнили о деле, усерднее принялись выстукивать и выслушивать груди и спины инвалидов, а медсестра подозрительно уставилась на Сергея Митрофановича, всем своим видом давая понять, что место здесь тихое и, если он, ранбольшой, выпивший или просто так побуйнить вздумал, она поднимет трубку телефона, наберет 02 – и будь здоров! Нынче милиция не церемонится, она тебя, голубчика, моментом острижет и дело оформит. Нынче смирно себя вести полагается.

Но медсестра не подняла трубку, не набрала 02, хотя сделала бы это с охотой, чтоб все эти хмурые, ворчливые инвалиды почувствовали, к какой должности она приставлена и какие у нее права, да и монотонность писчебумажной работы, глядишь, встряхнуло бы.

Она шевельнула коком, сбитым наподобие петушиного гребня, заметив, что инвалид тут же сник, не знает, куда глаза и дрожащие руки деть. И взглядом победителя обвела приемную залу, напоминавшую скучный базаришко, потому как вешалка была на пять крючков и пациенты складывали одежду на стулья и на пол.

– Можете одеваться, – сказал Сергею Митрофановичу врач. Он снял очки с переутомленных глаз и начал протирать стекла полый халата.

Деревяшка и одежда Сергея Митрофановича лежали в углу, он попрыгал туда. Пустая кальсонина болталась, стегая тесемками по стульям и выношенной ковровой дорожке, разостланной меж столами.

Так он и попрыгал меж столами, будто сквозь строй, а кальсонина все болталась, болталась. Телу непривычно было без деревяшки, и Сергей Митрофанович, лишившись противовеса, боялся – не шатнуло бы его, и не повалил бы он чего-нибудь, и не облил бы чернилами белый халат врача или полированный стол.

До угла он добрался благополучно, опустился на стул и глянул в залу. Врачи занимались своим делом. Он понял, что все это им привычно и никто ему в спину не смотрел, каль-

сонины не заметил. Врач, последним осматривавший его, что-то быстро писал, уткнувшись в бумагу.

И когда Сергей Митрофанович облачился, приладил деревяшку и подошел к столу за справкой, врач все еще писал. Он оторвался только на секунду, кивнул на стул и даже ногою пододвинул его поближе к Сергею Митрофановичу. Но садиться Сергею Митрофановичу не захотелось. Тянуло скорее выйти отсюда и закурить.

Он стоял и думал о том, что год от года меньше и меньше встречается на комиссии старых знакомых инвалидов – вымирают инвалиды, исчезает боль и укор прошлых дней, а распорядки все те же. И сколько отнято дней и без того укороченной жизни инвалидов такими вот комиссиями, осмотрами, проверками, хождениями за разными бумагами и ожиданиями в разных очередях.

Врач поставил точку, промокнул голубой промокашкой написанное и поднял глаза.

– Что ж вы стоите? – И тут же извиняющимся тоном доверительно пробормотал: – Писанины этой, писанины...

Сергей Митрофанович принял справку, свернул ее вчетверо и поместил в бумажник, неловко держа при этом под мышкой новую, по случаю поездки в город надетую, кепку. Он засунул бумажник со справкой в пиджак, надел кепку, потом торопливо стянул ее и молча поклонился.

Врач редкозубо улыбнулся ему, развел руками – что, мол, я могу поделаться? Такой закон. Догадавшись, что он привел в замешательство близорукое молодого врача, Сергей Митрофанович тоже вымученно улыбнулся, как бы сочувствуя врачу, вздохнул протяжно и пошел из залы, стараясь ставить деревяшку на невыношенный ворс дорожки, чтобы поменьше брякало, и радуясь тому, что все кончилось до следующей осени.

А до следующего года всегда казалось далеко, и думалось о переменах в жизни.

На улице он закурил. Жадно истянув папироску «Прибой», зажег другую и, уже неторопливо куря, попенял самому себе за срыв свой и за дальнейшее свое поведение. «Уж если поднял голос, так не пасуй! Закон такой! Ты, да другой, да третий, да все бы вместе сказали где надо – и переменили бы закон. Он что, из камня, что ли, закон-то? Гора он, что ли? Так и горы сносят. Рвут!..»

До поезда оставалось еще много времени. Сергей Митрофанович зашел в кафе «Спутник», купил две порции сосисок, киселя стакан и устроился за столом без клеенки, но чистым и гладким, в паутине светлых клеточек и полосок.

В кафе кормилась молодежь. За одним столом с Сергеем Митрофановичем сидела патлатая девчонка, тоже ела сосиски и читала толстую книгу с линейками, треугольниками, разными значками и нерусскими буквами. Она читала не отрываясь и в то же время намазывала горчицей сосиску, орудовала ножом и вилкой, припивала чай из стакана и ничего не опрокидывала на столе. «Ишь, как у нее все ловко выходит!» – подивился Сергей Митрофанович. Сам он ножом не владел.

Девушка не замечала его неумелости в еде. Он радовался этому.

С потолка свисали полосатые фонарики. Стены были голубыми, и по голубому так и сяк проведены полосы, а на окнах легкие шторы – тоже в полосках. Голубой, мягкий полумрак кругом. Шторки шевелило ветром и разбивало кухонный чад.

«Красиво как! Прямо загляденье!» – отметил Сергей Митрофанович и поднялся.

– Приятно вам кушать, девушка! – сказал он. Девушка оторвалась от книжки, мутно посмотрела на него.

– Ах, да-да, спасибо! Спасибо! – И прибавила еще: – Всего вам наилучшего! – Она тут же снова уткнулась в книжку, шаря вилкой по пустой уже тарелке.

«Так, под книжку, ты и вола съешь, не заметишь!» – с улыбкой заключил Сергей Митрофанович.

Дверь в кафе стеклянная и узкая. Два парня в одинаковых светлых, не по-осеннему легких пиджаках открыли перед Сергеем Митрофановичем дверь. Он засуетился, заспешил, не успел поблагодарить ребят, подосадовал на себя.

А по улице все кружило и кружило легкий желтый лист липы, и отвесно, с угрюмым шорохом опадал тополиный. Бегали молчаливые машины, мягко колыхались троллейбусы с еще по-летнему открытыми окнами, и ребяташки шли с сумками из школы, распиная листья и гомоня.

За полдень устало приковылял Сергей Митрофанович на вокзал, купил себе билет и устроился на старой тяжелой скамье с закрашенными, но все еще видными буквами «МПС».

С пригородной электрички вывалила толпа парней и девчонок с корзинами, с модными сумками и кошелками. Все в штанах, в одинаковых куртках заграничного покроя, стрижены коротко, и где парни, где девки – не разобрать сразу.

В корзинах у кого с десятков грибов, а у кого и меньше. Зато все наломали охапки рябины и у всех были от черемухи темные рты. Навалился на мороженое молодняк.

«И мне мороженого купить, что ли? А может, выпить маленько?» – подумал Сергей Митрофанович, но мороженое он есть боялся – все ангина мучает, потом сердце, или почки, или печень – уж бог знает что – болеть начинает.

«Война это, война, Митрофанович, по тебе ходит», – говорит ему жена и облегчить в делах пытается.

При воспоминании о жене Сергей Митрофанович, как всегда, помягчал душою и незаметно от людей пощупал карман. В кармане пиджака, в целлофановом пакете персики с рыжими подпалинами. Жене его, Пανε, любая покупка в удовольствие. Любому подарку рада. А тут персики! Она и не пробовала их сроду. «Экая диковина! – скажет. – Из-за моря небось привезли?» Спрячет их, а потом ему же и скормит.

В вокзале прибавилось народу. Разом, и опять же толпою, во главе с пожилым капитаном пришли на вокзал стриженные парни в сопровождении девчат и заняли свободные скамейки. Сергей Митрофанович пододвинулся к краю, освобождая место подле себя.

Парни швырнули на скамейку тощий рюкзачишко, сумочку с лямками. Вроде немецкого военного ранца сумка, только неукладистой и нарядней. Сверху всего багажа спортивный мешок на коричневом шнурке бросили.

Трое парней устроились возле Сергея Митрофановича. Один высокий, будто из кедра тесанный. Он в шерстяном спортивном костюме. Второй – как вылупленный из яйца желток: круглый, яркий. Он все время потряхивал головой и хватался за нее: видно, чуба ему недоставало. Третий, небольшого роста, головастый, смирный. Он в серой туристской куртке, за которую держалась зареванная, кудреватенькая девчонка в короткой юбке с прорехою на боку.

Первого, как потом выяснилось, звали Володей, он с гитарой был и, видать, верховодил среди парней. С ним тоже пришла девушка, хорошо кормленная, в голубых брюках, в толстом свитере, до середины бедер спускавшемся. У свитера воротник что хомут, и на воротник этот ниспадали отбеленные, гладко зачесанные волосы. У рыжего, которого все звали Еськой, а он заставлял звать его Евсеем, было сразу четыре девчонки: одна из них, догадался по масти Сергей Митрофанович, сестра Еськина, остальные – ее подруги. Еськину сестру ребята называли Транзистором – должно быть, за болтливость и непоседливость. Имя третьего паренька узнать труда не составляло. Девушка в тонкой розовой кофточке, под которой острились титчонки, не отпускала от него и, как в забыты, по делу и без дела твердила: «Славик! Славик!»...

Среди этих парней, видимо, из одного дома, может, из одной группы техникума, вертелся потасканный паренек в клетчатой кепке и в рубашке с одной медной запонкой. Остался у него еще малинового цвета шарф, одним концом заброшенный за спину. Лицо у парня

переменчивое, юркое, кепочка надвинута на смышленные цепкие глаза, и Сергей Митрофанович сразу определил – это блатняшка, без которого ну ни одна компания российских людей обойтись не может почему-то.

Капитан как привел свою команду – так и примолк на дальней скамейке, выбрав такую позицию, чтоб можно было все видеть, а самому оставаться незаметным.

Родителей пришло на вокзал мало, и они потерянно жались в углах, втихомолку смахивая слезы, ребята были не очень подпитые, но вели себя шумно, хамовато.

– Новобранцы? – на всякий случай поинтересовался Сергей Митрофанович.

– Они самые! Некруты! – ответил за всех Еська-Евсей и махнул товарищу с гитарой: – Володя, давай!

Володя ударил по всем струнам пятерней, и парни с девчонками грянули:

Черный кот обормот!
В жизни все наоборот!
Только черному коту и не везе-о-о-от!..

И по всему залу вразнобой подхватили:

Только черному коту и не везе-о-о-от!..

«Вот окаянные! – покачал головой Сергей Митрофанович. – И без того песня – погань, а они еще больше ее поганят!»

Не пели только Славик и его девушка. Он виновато улыбался, а девушка залезла к нему под куртку и притаилась.

К «коту», с усмешками, правда, присоединились и родители, а «Последний nonешний денечек» не ревел никто. Гармошек не было, не голосили бабы, как в проводины прежних лет. Мужики не лезли в драку, не пластали на себе рубахи и не грозились расщепать любого врага и диверсанта.

Ребята и девчонки перешли на какую-то вовсе несуразную дрыгалку. Володя самозабвенно дубасил по гитаре, девки заперебирали ногами, парни запритопывали.

Чик-чик, ча-ча-ча!
Чик-чик, ча-ча-ча!

Слов уж не понять было, и музыки никакой не улавливалось. Но ребятам и девчонкам хорошо от этой песни, изверченной наподобие проволочного заграждения. Все смеялись, разговаривали, выкрикивали. Даже Володина ядреная деваха стучала туфелькой о туфельку, и когда волосы ее, гладкие, стеклянно отблескивающие, сползали горodyбою на глаза, откидывала их нетерпеливым движением головы за плечо.

Капитан ел помидоры с хлебом, расстелив газету на коленях, и ни во что не вступал. Не подал он голоса протеста и тогда, когда парни вынули поллитровку из рюкзака и принялись пить из горлышка. Первым, конечно, приложился тот, в кепке. Пить из горлышка умел только он один, остальные больше дурачились, болтали поллитровку, делали ужасные глаза. Еська-Евсей, приложившись к горлышку, сразу же бросился к вокзальной емкой мусорнице, а у Славика от питья покатились слезы. Он разозлился и начал совать своей девушке бутылку.

– На!

Девушка глядела на него со щенячьей преданностью и не понимала, чего от нее требуется.

– На! – настойчиво совал ей Славик поллитровку.

– Ой, Славик!.. Ой, ты же знаешь... – залепетала девушка, – я не умею без стакана.

– Дама требует стакан! – подскочил Еська-Евсей, вытирая слезы с разом посеревшего лица. – Будет стакан! А ну! – подал он команду блатняшке.

Тот послушно метнулся к ранцу Еськи-Евсея и вынул из него белый стаканчик с румяной женщиной на крышке. Эта нарисованная на сыре «Виола» женщина походила на кого-то или на нее кто-то походил? Сергей Митрофанович засек глазами Володину деваху. Она!

– Сыр съесть! – отдал приказание Еська-Евсей. – Тару даме отдать! Поскольку она...

Она, она не может без стакана!..

Этим ребятам все равно, что петь и как петь.

Володя дубасил по гитаре, но сам веселился как-то натужно и, делая вид, что не замечает своей барышни, все-таки отыскивал ее глазами и тут же изображал безразличие на лице.

– Ску-у-усна-а! – завопил блатняшка. Громко чавкая, обсасывал он сыр с пальца, выпачкал шарф и понес все на свете.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.